

СТРЕКОЗА

ТРИЛОГИЯ
КНИГА II



АВТОРСКИЙ САЙТ

Татьяна Верден

16+

Татьяна Герден

Стрекоза. Книга вторая

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42620155

SelfPub; 2019

Аннотация

Людвика возвращается из Ленинграда и начинает работать в родном Песчанске. Севка лечит невроз творческой личности, усугублённый травмой детства, сочиняет музыку, принимая порошки доктора Горницына, и сталкивается с необычным явлением на заброшенном стадионе. А Витольд увлекается игрой в оловянные солдатики. Но идиллия провинциального быта прерывается многозначительными событиями. Os-Pisiforma неожиданно снова даёт о себе знать, и Витольд пускается в авантюрное, если не сказать совершенно абсурдное, путешествие в Покровск на поиски легендарной Тамары Леопольдовны Кувыкиной, чтобы раз и навсегда поставить точку в истории с призраком Горация.

Содержание

Книга вторая. Задачи доктора Фантомова	4
Часть первая	4
1	4
2	11
3	21
4	34
5	42
6	57
7	69
8	88
Конец ознакомительного фрагмента.	103

Книга вторая. Задачи доктора Фантомова

Часть первая

1

Людвика смотрела на отца и дивилась, как за такое, сравнительно короткое время она смогла полностью забыть, как он выглядит. Он спал на диване в гостиной напротив Бертиного Bluthnera, сияющего полировкой, благодаря неусыпным стараниям Глафиры, и был похож на застрявших на перевалочных станциях вокзалов пассажиров, застывших в разных позах в ожидании своих поездов. Его лицо, снизу чуть прикрытое газетой, было странно знакомым и в то же время чужим, как бывает с лицами любимых киноактёров, которых мы не сразу узнаём в новых ролях. На первый взгляд оно выглядело вполне спокойным, но по заметным складкам между бровей и в уголках рта, нерасправляющихся даже во сне, было понятно, что он был чем-то озабочен.

«Папа, – подумала Людвика. – Папа...» В этом слове сосредоточилось столько противоречивых чувств: нежность,

тревога, благодарность, расставание с детством и попеременное желание и нежелание полностью покинуть его для ухода во взрослую жизнь, где уже были и ещё будут другие люди, далёкие, разные, хорошие и плохие, близкие и не очень, но как бы там ни было – другие, и никого она больше не сможет называть вот так просто, трепетно, уютно и ласково, стесняясь и тая от какой-то невыразимой светлой грусти, всегда присутствовавшей в этом домашнем слове «папа»...

Развернув вполоборота стул от пианино, она немного посидела рядом и, не желая будить отца, тихо встала и вышла назад в прихожую – снять плащ и берет. Из кухни доносились опьяняющие запахи картофельных оладий, чего-то мясного и чего-то ещё, что трудно было разобрать с порога, но они как магнитом тянули её зайти первым делом туда, чтобы непременно увидеть источник творимого чуда. Людвика повесила плащ на плечики, закинула берет на полку для головных уборов и, бросив на себя быстрый взгляд в зеркало, пригладила чуть растрепавшиеся в дороге волосы. Она зашла в кухню.

Там, как жрица в храме божественного огня, священнодействовала Глафира. В кружевном кокетливом фартуке, с сеткой для волос на уложенных на затылке косах, с лопаткой для переворачивания оладий в правой руке, как солдат держащий винтовку наизготовку, она быстро подхватывала подрумянившиеся в скворчащем масле оладьи и ловко переворачивала их на другую сторону. Шлёп, шлёп... Увлечённая

своим действием, она стояла спиной к Людвике и не замечала её.

Один спит как ребёнок, другая так увлечена готовкой, что ничего не слышит, этак можно десять раз зайти и выйти из квартиры и вынести всё, что угодно, проснулось в Людвике Бертино здравомыслие.

– Глафира Поликарповна, – наконец сказала Людвика, – здравствуйте!

Глафира вздрогнула, чуть не уронила оладью с лопатки, но вовремя вывернула её на сковородку и поспешно повернулась лицом к Людвике. Увидев её, она уже чуть не уронила лопатку.

– Людвика! Господи, радость-то какая! Приехала! Людвика! Как же это, без предупреждения...

Глафира быстро передвинула сковородку на соседнюю конфорку, выключила огонь и положила лопатку на блюдце для стекания теста. Она вытерла руки полотенцем, подошла к Людвике и, не решаясь её обнять, неловко протянула обе руки для приветствия. На лице у неё смешались радость, удивление и настороженность. Людвика никогда особо не любила Глафиру. Она считала её пронырливой и навязчивой, но после долгого отсутствия она была рада и Глафире как неотъемлемой части своего покинутого дома, и поэтому она подошла к ней и сдержанно, но искренне обняла. На неизбалованную Людвкиным вниманием Глафиру это подействовало ошеломляюще. Она расплакалась от умиления

и признания её своей, даже если бы это и была дань моменту встречи после долгой разлуки.

Всхлипывая и шмыгая носом, Глафира опустилась на стул, утираясь передником, но так, чтоб не задеть кружева.

– Как хорошо, что ты приехала! – наконец вымолвила Глафира. – Как хорошо!

Людвика села за стол и посмотрела на Глафиру. Никогда она её не видела раньше с хлюпающим носом и в слезах. По пальцам опять прошла ледяная дрожь. «Но нет, не надо поддаваться этим настроениям, – подумала она, – я за тем и приехала, чтобы привести их всех тут в порядок». Она молчала и ждала, когда Глафира успокоится.

Глафира понемногу приходя в себя и смущённо улыбаясь сквозь слёзы, стала извиняться.

– Ой, прости меня, совсем нервы расшатались, ты-то как? Что ж телеграмму не дала, что приезжаешь, мы бы встретили. Поступила?

– Не-а, – горько сказала Людвика и посмотрела в окно. – Сдать – сдала, но по конкурсу не прошла, – пояснила она.

– Это как же? – не поняла Глафира.

– А так, – насупилась Людвика. Видно было, что ей не доставляло большой радости объяснять все подробности своего провала. Ей всё время вспоминалось Глафирино ехидное «А ты думаешь, тебя там ждут?». Помолчав, она добавила:

– Конкурс очень большой. Много со стажем работы. Парней. Проходной балл сделали очень высокий, даже с хоро-

шими оценками – мало кто проходит. Отсеиваются.

Конечно, Глафире очень хотелось сказать «Я ж тебе говорила, а ты меня не слушала», но она была искренне рада Людвике и не хотела ехидничать в такую минуту. Ей всё время казалось, что Людвика – это её спасение и вместе с ней она вытащит Витольда из странного сползания в мир загадочных игр – и в солдатики, и с Фантомовым, и, увидев Людвику, – спокойную, повзрослевшую, с умным и ясным взглядом, Глафира была уверена, что страшные дни миновали и теперь у них всё будет хорошо.

– Ой, так что ж я сижу, – спохватилась Глафира после неловкой паузы, – я мигом чай поставлю, и вот оладушки на подходе, а курочка в духовке, минут через двадцать будет готова. Отец-то как будет рад, ой как рад!

Она бросилась к плите, поставила чайник на огонь, открыла холодильник и начала вынимать оттуда судки со всякой снедью: кабачковой икрой, селёдочным маслом, нарезанной колбаской и сыром, – но Людвика остановила её.

– Я, Глафира Поликарповна, лучше душ пока приму, если есть горячая вода, а то с поезда очень хочется переодеться.

– Может, всё-таки чайку сначала? А после душа и покупаете с отцом, я разбужу его.

– Нет-нет, не надо его будить. Я быстро. Потом чай.

– Ну ладно, тогда я оладушки как раз закончу жарить, – сказала Глафира и уже как раньше, по хозяйственному, с нотками командира подводной лодки, добавила: – Чистое

полотенце на полке вверху, проверь титан, нагрелся ли. А халат чистый я тебе принесу.

Людвика подошла к плите, стащила с тарелки готовую оладью и пошла в ванную. Ах, как вкусно! Сто лет не ела картофельные оладьи. Просто тают во рту. Как бы на душе не было тяжело, всё-таки дома так хорошо! И даже Глафира пока её не раздражала. В конце концов, она у нас не каждый день, а по сменам, а там... там будут только они – она и папа, – и всё постепенно наладится. Только к этому надо привыкнуть. Она вспомнила, как Глеб на остановке помахал ей вслед, и сердце больно сжалось от тоски по нему и жалости к себе. Но нет. Это всё – в прошлом. А впереди – впереди только радость и любовь.

Она нашла полотенце, потрогала титан – ура! – он был достаточно горячим, и, быстро раздевшись, залезла под душ, включила воду. Сначала пошла довольно прохладная вода, но Людвика так устала от всяких дорожных неудобств, что любая вода, падающая на её тело, казалась ей сейчас почти чудом. Вскоре из душа побежали тёплые и вот уже – почти обжигающие струи. Она добавила холодной, и полученная температура – ни горячая и ни ледяная – обволокла её ласковым покрывалом.

Людвика блаженно закрыла глаза, и через некоторое время ей почему-то показалось, что она никуда и не уезжала, а как будто просто пришла домой из школы, и что впереди – выходные и она пойдёт с родителями к доктору Фантому

и опять будет рассматривать склянки со смешно торчащими из них рецептами на латыни и книжки по медицине, а потом, после чая с бисквитами и вареньем, бегать с Пашей и Сашей во дворе, гоня мяч как мальчишка, и Паша будет ей дуть на разбитую коленку, смешно морща нос, чтобы не было больно. Всё это было очень отчётливо и очень странно, но, пожалуй, самым странным было ощущение, что за занавеской сейчас стояла мама и выговаривала ей за замаранные травой белые гольфы, которые будет трудно отстирать, и это ощущение было настолько сильным, что Людвике непременно захотелось отдёрнуть занавеску и убедиться... но вот убедиться в чём – в том, что её там нет, или в том, что она там была? Людвика сама не знала, чего бы ей хотелось больше, и, чтобы развеять сомнения, она взяла мочалку и мыло и стала с силой растирать своё тело, стремясь выйти из оцепенения.

«Поистине места, где ты провёл детство, – думала она, – полны воспоминаниями, которые продолжают там жить и которые в любую минуту, увидев нас, могут проснуться, сгуститься, сойти со стен и предметов, принять знакомые черты и поплыть в сознании постепенно проступающими сквозь разноцветный туман, сбивчивыми, но довольно яркими картинами». Именно в такие минуты грань между реальным и привидевшимся полностью стирается. И если воспоминания становятся такими выпуклыми и осязаемыми настолько, что их можно потрогать и с ними заговорить, разве они не становятся от этого такими же реальными, какими они были де-

сять или даже сто лет назад? И что такое тогда реальность – если не всего лишь твёрдые очертания физического мира, помогающие создать реальность мира более тонкого, но не менее физического, и если так, то почему тогда мир тонкий всегда ставится жителями твёрдого под сомнение, как надуманная, пугающая и несуществующая явь?

Впрочем, это были уже мысли не Людвики, а Берты. Та постояла ещё минут пять, прислушиваясь к забытому шуму воды, покрутилась перед зеркалом, но так ничего там и не увидела и, скользнув взглядом по полке с туалетными принадлежностями и убедившись, что «Пиковой дамы» там больше нет, ухмыльнувшись, исчезла.

2

Высокая тощая медсестра неопределённых лет строго посмотрела на Севку и, перед самым его носом подняв шприц прямо вверх, выпустила из него капельку жидкости, чтобы проверить проходимость иглы. Затем она громко скомандовала:

– А ну, больной, ложитесь на кушетку, снимите штаны и не двигаться!

«Господи, от такого обхождения и здоровый чокнуться со страху может!» – подумал Севка и с ужасом повиновался. Через минуту ему показалось, что в него влили расплавленное густое железо, и оно, по мере прохождения по его телу,

на ходу твердеет и тем самым разрывает ткани и сосуды. Как ни старался, Севка не выдержал и завыл страшным голосом.

– Но-но-но, это что ещё за стоны! – гавкнула медсестра, суя ему ватку и кладя его руку на место укола. – Не в ясельной группе, поди! Тебе сколько лет, скоро в армию, а он воет, как младенец.

Она поджала губы, села за стол и начала что-то писать в его карточке.

Севка стиснул зубы, но выть не перестал. «Какую армию? – думал он. – Серафима давно достала справку о том, что он сирота и её единственный кормилец, и поскольку она жила с Григорием не по закону, то так в принципе и получалось. Ему было уже куда больше восемнадцати, и отсрочку он получил минимум ещё на два года. С одной стороны, ему было немного стыдно, что они привирают – насчёт единственного кормильца, но, с другой стороны, если Серафима и Григорий поссорятся и Теплёв уйдёт, то она и вправду останется одна, без кормильца. Это заглушало угрызения совести и позволяло расслабленно жить, не думая об армии. В конце концов, у Студебекера тоже была справка об отсрочке, как у студента пищевого техникума, а Сеня и Петя – партнёры по преферансу – были салаги, им ещё только наклёвывалось восемнадцать.

Севка продолжал приглушённо подвывать, не обращая внимания на выговоры строгой медсестры. «Чем меня учить жить, лучше б научилась уколы, как следует делать, – думал

он, с трудом отходя от невероятной боли. – Как будто снарядом ползадницы снесло!»

Он натянул штаны, встал с кушетки и направился к двери деревянной походкой. Пропади они пропадом со своими магнезиями и витаминами, пусть доктор Горницын сам себе такие болючие уколы ставит, злился Севка на то, что уступил нареканиям Серафимы и всё-таки пришёл в поликлинику на уколы.

Как будто услышав его жалобы, в коридоре ему встретился сам доктор Горницын. Увидев Севку, старик обрадовался и на ходу горячо его приветствовал:

– А! музыкант! На лечение пришёл?

Севка сначала не собирался жаловаться на неловкость медсестры, просто хотел покинуть медучреждение, чтобы по возможности никогда в него больше не возвращаться. Но потом проворчал, еле волоча ноги от кабинета:

– С таким лечением не до шуток.

Доктор остановился:

– Что-что? Потрудитесь объясниться, молодой человек.

Улыбка сошла с его бодрого, сморщенного личика.

– Да я... это... – промямлил Севка. – Уж очень болезненные уколы вы мне, доктор, прописали. Чуть не умер.

Ему хотелось потерять больное место, но даже малейшее движение рукой по направлению к области укола отдавало тягучей, раздражающей болью.

Сергей Ипатьевич наклонил голову набок, словно пытаясь

разглядеть, где это больное место, но потом, бросив взгляд на круглые часы на стене, заспешил дальше, продолжая разговаривать с Севкой почти из-за спины:

– Зайдите ко мне, Чернихин, завтра после обеда, мы что-нибудь для вас придумаем.

И убежал.

«Что он для меня может придумать? – подумал Севка и поковылял домой. – Никуда я завтра не приду». Он вышел на улицу, закинул на шею свой малиновый шарф, подтянул пиджак, чтоб полы рубашки не торчали, и пошёл своей ленивой, весьма отягощённой телесными страданиями походкой, вон с поликлинического двора. Как только он вышел за чёрные чугунные ворота, он почти столкнулся с молодой девицей, щуплой и остроглазой как весенняя птица-синица. Она как будто впорхнула за ворота, обдав Севку голубым сиянием глаз-льдинок. На девушке был берет почти такого же цвета, как и его любимый шарф, и Севке сразу захотелось поёрничать и кинуть девушке вслед что-нибудь вроде «Кто там в малиновом берете?». Девушка стремительно прошла мимо, направляясь в поликлинику, и тут Севка подумал, что он где-то её уже несомненно видел. Несомненно! Но вот где?

Вследствие разбитого физического состояния в результате не вполне профессионального медицинского вмешательства он решил пройтись до дому пешком, так как не мог представить, чтобы на него навалилась толпа в автобусе, и по дороге старался вспомнить, где он уже видел «незнакомку» –

эти распахнутые любопытные глаза? Где?

Он уже почти дошёл до своей улицы, как тут его окликнули. Севка повернулся и увидел... Лизу. Лицо её было ещё бледнее, чем раньше, глазки-щёлки сузились до невозможности, и вся её фигура в длинной юбке и какой-то несуразной тёмно-серой куртке до половины бедра была похожа или на подсохший от времени кипарис или на... отвёртку. Она держала руки в карманах куртки, как Любовь Яровая, и смотрела на него резким, непроницаемым взглядом. В нём был и хлад, и пламень, как сказал бы поэт. «Что-то меня сегодня на Александра Сергеевича потянуло», – только и успел подумать Севка, как тут Лиза его окликнула.

– Сева, – сказала она почти не голосом, а интонацией, в которую вместились боль, укор, радость, удивление и снова – боль. Севку как обожгло. Он чуть не споткнулся о высокий бордюр.

– Лиза? – почти ей в тон сказал Севка и опустил голову.

Ну, сейчас начнётся. Надо срочно брать инициативу в свои руки, чтобы Лиза не дала воли своим чувствам и снова не загипнотизировала его своим невыносимо долгим и жгучим, как сумасшедшее солнце, которое испепеляет всё живое в пустыне, взглядом.

– Пойдём в парк, тут недалеко, – сказал Севка, – поговорим.

Лиза знала, что когда мужчины в её жизни говорили подобное – пойдём поговорим, – это обычно не предвещало

ничего хорошего, а только то, что они собирались её бросить. К горлу подступил комок, и, сглотнув надвигающуюся в её душе бурю, она сказала:

– Пойдём.

Вместо красной косынки на голове у Лизы был тёмно-зелёный широкий шарф, который она несколько раз обернула вокруг волос и заколола на затылке, что выглядело странно, но красиво. Этот шарф совсем не был похож на красную домотканную ленту с монетами, что была на ней в его сне, но почему-то тот сон сразу напомнил о себе. «Ох, как не хочется делать ей больно, – совестился Севка, – как не хочется! Как бы ей помягче объяснить, что они – не пара. Ну не пара». Он почему-то опять, совсем невпопад, вспомнил девушку в берете. У неё были большие голубые глаза и льняные, чуть волнистые волосы. Где же он её видел? Где?

В парке было тихо, только иногда порывы ветра шевелили кроны деревьев. Теряя листья, большими клочьями срывающиеся с веток, деревья гнулись в разные стороны, как будто качая головой и тоже утвердительно шелестя: «Не пара ты ей, ну не пара» – и отчего-то тоже волновались.

Выбрав скамейку поудалёнее от главной дорожки, упирающейся в выключенный по сезону, совсем засохший фонтан, Севка с нарочитой заботливостью смахнул со скамейки скрюченные листья и предложил Лизе сесть.

Лиза села. Сначала она смотрела куда-то в одну точку, а потом взглянула на Севку.

– Ты уволился?

– Пока нет.

– Пока?

– Я ещё не решил.

– Тебя нет, – сказала Лиза в своей манере говорить кусками фраз, но он понял, что она имела в виду – на работе. Его нет на работе. Теплёву с Серафимой удалось уговорить его временно уволиться, на время лечения, так сказать, и восстановить в конце учебного года или чуть раньше. Как «единственный кормилец» совсем уволиться он, конечно, не мог, но на месяца три-четыре, а то и пять, мог вполне. «Не бойсь, Всеволод, – бодро говорил ему Теплёв, сплёвывая через плечо и быстро подписывая молниеносно состряпанные бумаги, – как уйдёшь, так и придёшь, если сам захочешь, проблем не будет, я с начальством договорился. На вот, подпиши обходной». Севка хотел опять было взбрыкнуть, но потом подумал: «А, меньше споров, больше дела, когда наскучит бездельничать, пойду назад». И подписал бумагу. О Лизе он тогда, конечно, вообще не думал. И вот он – час расплаты. Не получилось уйти без шума!

– Тебя нет, – повторила Лиза. И он почувствовал, почти услышал, как бьётся её сердце – глухо, отрывисто, со сгустками с силой выталкиваемой крови. «Лиза, Лиза, Лиза... Ляззат... удовольствие, наслаждение и блаженство! Ну не надо, не надо разрывать мне сердце!» – подумал Севка.

И быстро сказал:

– Прости, я последнее время не в себе. Ты тут ни при чём, понимаешь?

Он нащупал пуговицу на своём пиджаке, ту, которая висела на распоясавшейся ниточной ножке, и стал её вертеть, чтобы помочь себе в подборе правильных слов.

– Я плохой человек, я знаю, – он опустил ресницы, горячо веря в правоту сказанного. – Я обещал увидеться с тобой и не сдержал обещания, и в этом я виноват.

Лиза молчала и слушала, так и не вынимая рук из карманов куртки. Казалось, ей было очень холодно.

– Я и самому себе часто даю слово и не всегда держу его. Ну, теперь надо собраться с силами и сказать ей самое главное. «Ну, давай, – приказывал себе Севка и никак не мог решиться. – Давай!» Еле шевеля языком, он, наконец, с трудом выдохнул:

– Нам не надо больше встречаться.

Пуговица оторвалась с полностью разошедшейся ножки и осталась у него в руке.

Господи, как тяжело-то! Он искоса поглядел на Лизу. Она не пошевелилась. Ему показалось, что её лицо сначала побледнело, а потом сразу – почернело. Она была сейчас очень похожа на ту – из сна, которая рубила себе руки топором. Она молчала.

– Я живу для тебя, – тихо сказала Лиза. – Мне больше... мне ничего больше не надо.

У Севки защемило сердце. Ему было жутко жалко Лизу, и

он чувствовал себя преступником, который совершил что-то очень страшное, что-то пострашнее убийства. Еле ворочая языком, он промямлил:

– Прости меня, Лиза. Прости.

«Если я сейчас же не уйду, я умру», – подумал он и встал.

– Мне надо идти. Прости.

Не в силах посмотреть Лизе в глаза, съёжившись и неловко подтягивая ногу со стороны окаменевшей от укола мышцы, он пошёл прочь от скамейки, как тяжело больной старик. «Было бы хорошо, если бы у неё был пистолет и она бы меня просто пристрелила, – вдруг пронеслось у него в голове, – и то бы легче стало».

При каждом шаге он чувствовал Лизин взгляд у себя на спине. Этот взгляд жёг его таким же раскалённым железом, какое только час назад тощая медсестра немилосердно всадила ему пониже спины. Ну и денёк сегодня, прямо День Калёного Железа. Это название позабавило его. День Калёного Железа. Ветер пронёсся по тяжёлым веткам старого клёна. Тот закрипел, и в Севкиной голове, откуда ни возьмись, отдалённым эхом так же закрипели и потянулись одна за другой шершавые, хриплые звуки, по ходу своего появления чудным образом превращающиеся в ноты. Как радужные пузыри, эти звуки рождались, росли, переливались на свету, лопались, исчезали и тут же появлялись вновь, один ярче другого, и постепенно наполняли слух тягучей, сдавленной мелодией.

Музыка то занималась пламенем, то гасла, то снова захлёбывалась в едва нащупанном ритме, тут же сбиваясь с него, а губы незадачливого музыканта зудели в негромком, бессвязном бормотании. Имитируя звуки, услышанные где-то внутри, он словно пытался попробовать их на вкус и услышать их снаружи, чтобы убедиться – это те же или другие? Вскоре ему стало намного легче, откуда-то взялись силы идти быстрее, и, вот уже забыв и о Лизе, и о боли собственного, подбитого тела, Севка летел по улице и уже довольно громко мычал вновь рождённую композицию, словно читал её с листа, по несколько раз возвращаясь на начало нотной строки, терпеливо и настойчиво отрабатывая, а затем и выправляя её в нужных местах и по многу раз повторяя отшлифованные в уме ультимы и субдоминанты. Потом он принялся въедливо подчищать строки от случайных или фальшивых нот, заменять одну тонику на другую, лелеять только что найденное сочетание и, припрятав его в памяти, двигаться дальше, а руки его уже ощущали под своими пальцами необходимое движение смычка и упругие, упрямые струны Амадеуса, который сначала, по обыкновению, сопротивлялся, а через некоторое время сам подсказывал ему, как получше взять их на собственном теле, тем самым становясь соучастником задуманного задолго до того, как его партнёр добрался до дома, суетливо раскрыл футляр и достал смычок как боевой меч из ножен, и когда они смогли, наконец, полуобнявшись, как прячущиеся от чужих глаз и от яркого света любовники, сыг-

рать эту мелодию вместе.

3

Витольд Генрихович не мог поверить своим глазам, когда увидел Людвику после долгого расставания. Он был и рад, и смущён, и взволнован. Он забыл, что это значит – быть отцом во многих смыслах этого слова, и отвык от того, что, кроме него и Глафиры, в доме будет жить кто-то ещё. Когда Людвиги так долго не было рядом, он жутко тосковал по ней, но когда она появилась – так же внезапно, как и уехала больше года назад, – он вдруг растерялся. Он не узнавал её лица и её голоса. Она не то что бы выросла, нет, она по природе была хрупкая и миниатюрная, но в ней явно произошла какая-то существенная перемена. В нежно-голубых глазах часто мелькали тени глубокой задумчивости и необъяснимой меланхолии, она могла долго сидеть тихо, ни с кем не разговаривая и глядя куда-то в пустоту, и даже если Витольд вспоминал, что в детстве его дочь была не самой прыткой и болтливой девочкой среди одноклассниц, теперь эта молчаливость почему-то его очень настораживала. В эти дни она становилась похожей на БERTУ, с её недомолвками, тайнами и необоснованным недовольством своей жизнью.

Он решил поделиться тревогами с Глафирой. Выкладывая на круглой сковородке кремовую творожную массу на слой свежее испечённых блинов и поливая его густой смесью

из желтков и сливок с сахаром, Глафира простодушно бросила ему:

– Так она, поди, выросла у вас, а вы и не заметили. Всё ребёнком её считаете, всё нянькаетесь. А там, в Ленинграде, у неё могло быть уже всё что угодно.

Витольд не сразу понял, о чём это там Глафира говорит, но, подумав и поняв смысл сказанного, он сначала покраснел, а потом помрачнел:

– Ну уж нет, только не моя дочь.

– Да вы не обижайтесь, что я такого сказала? – расстроилась Глафира и слизнула с ложки остатки сливочной смеси. – Я имела в виду, что она уже вполне взрослая девушка и у неё, как у всех в этом возрасте, могут быть сердечные тайны. Хотите блинчатого пирога? Через минут двадцать будет готов.

Витольд нахмурился и ушёл к себе в кабинет. Там он закрылся, потому как заметил, что Глафира стала за ним подглядывать, а ему это было неприятно, и проверил недавно законченную расстановку правого фланга малогабаритной армии, изображающей армию шведского короля Густава Адольфа. Один солдат стоял на полсантиметра ближе к командиру взвода, чем следовало, и это портило общий вид расположения войск. Так, проверим левый фланг, ну-ка, ну-ка? Вроде всё в порядке. Он заложил руки за спину и прошёлся вдоль войск, выстроенных на краю его письменного стола. Так бы он проверял состояние войск перед наступлением, проходя мимо стройных рядов пехоты. Та-ак, смот-

рим: ботинки – начищены ли до блеска, пуговицы – все ли застёгнуты на мундирах, лица солдат – гладко ли выбриты и шапки гренадёров – заломлены ли как полагается, не слишком ниже и не слишком выше линии бровей? Витольд прошёлся пару раз взад и вперёд. Осмотром остался доволен. Сел.

С тех пор как доктор Фантомов подарил ему оловянное войско, жизнь его заметно изменилась. Сначала он просто наслаждался внешним видом миниатюрных солдат и офицеров, и ему нравилось переставлять их с места на место, создавая разные фигуры и картины боя. Но потом, вспомнив, как они с Фантомовым разбирали в учебниках истории великие битвы и сражения и взвешивали все за и против причин, по которым очередная знаменитая битва либо заканчивалась победой, либо поражением, а то и полным разгромом, он открыл как-то один из таких учебников и попытался восстановить картину боя – в тот раз 1805 года под Аустерлицем. Ему не хватило гренадерской кавалерии, и, походив по скупкам и антикварным, он подкупил недостающие фигурки.

Каждый такой поход становился целым приключением, захватывающим событием, о котором он долго думал, которое долго планировал и долго ждал.

Разложив солдатиков по разным коробочкам – в зависимости от рода войск, исторических эпох и рангов, – Витольд принялся рыться в учебниках, выискивая наиболее живописные баталии и после этого разыгрывать их на своём столе.

После первых же попыток развернуть события старины далёкой он пришёл к неожиданному выводу, что в учебниках истории битвы описывались либо очень поверхностно, либо вообще неправильно, так как, по логике сражения, одни части не могли находиться в тех местах, кои им приписывали, или же главный перелом приходился на совсем другие моменты, чем те, что обозначались историками как ключевые.

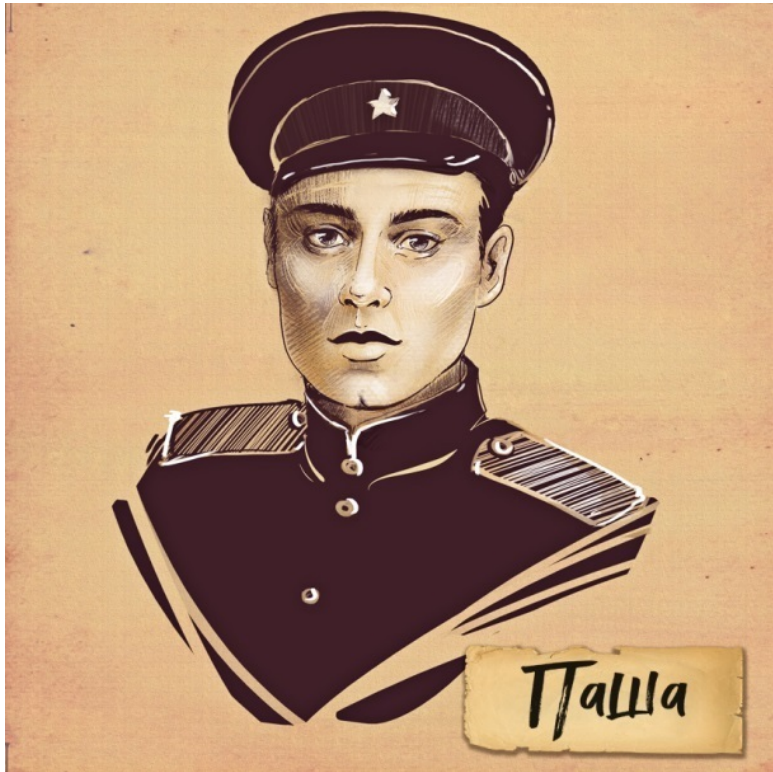
Например, выяснилось, что в битве при Лутцене, в 1632 году, одним из решающих факторов провала армии шведского короля могли быть не промахи в стратегии и тактике его армии, а обыкновенный туман, сгустившийся по странному стечению обстоятельств как раз тогда, когда кавалерию Густава Адольфа атаковала кавалерия противника под командованием герцога Валленштейна во время тридцатилетней войны. Витольд это понял, посмотрев в раздумье в окно, когда увидел молочно-сизые нимбусы доморощенной Песчанской хмари, ключьями зависшие над крышами и кронами лип и каштанов. Больше он не задавал себе вопрос, что же могло произойти и почему они – шведы – позволили имперским войскам расправиться с собой почти без боя. Они просто не увидели бригады имперских кирасиров, которые ворвались как всадники-призраки на лихих скакунах из густой надземной ваты в подразделения Адольфа. Но кто обращает внимание на погодные условия битв? Если и обращают, то не настолько. А туман, по мистической иронии судьбы, часто полностью определял исход даже самых блестяще подго-

товленных сражений. Не говоря уже о совершенно несправедливой оценке провала имперско-британских союзников в битве при Бленгейме 1704 года.

Новое увлечение стало и радостью, и печалью Штейнгауза. Во-первых, он надолго отвлёкся от решения Фантомовской загадки, столь часто мучавшей его отсутствием рационального объяснения, возвращаясь к ней только изредка, за бритъём или во время проверки курсовых. Во-вторых, ему открылись такие закоулки и впадины мировой истории, о которых он даже не подозревал. То, что история цивилизации была представлена в учебниках, и, судя по всему, так она и развивалась, сплошной серией битв, боёв и откровенных политических склок между претендентами на трон, с целью обогащения за счёт населения той или иной страны, было не в диковинку. Но вот то, от чего зависел переход власти, а с ней и территории и судьбы ею определяемой целых народов и государств, и на каком миллиметре или даже волоске висели нации и народы мира, ожидая своей участи, стало более явно проступать, только когда он начал сам инсценировать знаменитые баталии и записывать все ходы истории как в шахматах. А печальным было то, что поделиться пока своими мыслями ни с кем не удавалось. Доктор Фантомов уехал на три недели в Кисловодск, на воды – подлечить разбушевавшуюся подагру, а другим людям Витольд стеснялся поверить свои исторические открытия и тем более то, как он к ним пришёл. Ну не с Глафирой же, в самом деле, разбирать

Бородинское сражение или битву при Гастингсе!

А потом к нему вдруг зашёл Паша Колесник, примерно за месяц до такого же неожиданного приезда Людвики. В тот день Глафира была дома. Она пекла пирожки с капустой и с грибами и сначала, прямо с порога, утащила Пашу на кухню и угостила его пирожками с чаем, а потом, немного нервно, провела к Витольду в кабинет. Там Паша растерянно теребил фуражку курсанта третьего курса в руках, краснел и бледнел, но мужественно спросил, не написала ли Людвика, когда приедет. И тут его взгляд, до этого незряче скользкий по периметру помещения, какой бывает у людей сосредоточенных на своих горестях и потому мало что замечающий вокруг, упал на широко раскрытую газету на столе Штейнгауза, судя по неровностям и выпирающим буграм, явно что-то под собой прикрывающую. Из-за её смятого края выглядывала маленькая фигурка солдатика в красном мундире с синими отворотами, со штыком наизготовку и самоотверженным выражением застывшего кукольного личика. Паша не поверил своим глазам. От удивления он уронил фуражку, а, поднимая её, заметил, что под газетой скрывался не один, а целое войско солдатиков, готовых к бою, и от несуразности этой картины он не удержался и прыснул.



А потом подумал: «Поистине лучшее средство от тоски и разлуки – это игра!» Он и сам не так давно пристрастился к игре, только не в солдатиков – вот уж никогда бы не подумал, что Людвикин отец этим увлекается, – а в карты. В преферанс. Через приятелей своих родителей, чей сын занимал-

ся музыкой в местном училище, он познакомился с парнем по имени Петя, Петя Травкин, который тоже учился музыке, и тот привёл его к человеку по имени Жора Студеникин. Этот Жора, гигант-добряк, по прозвищу Студебекер, оказался строгим и неподкупным хозяином квартиры, где каждую неделю собирались игроки в преферанс. После первого вечера, куда Паша потащил с собой и Сашу, который жутко сопротивлялся и всячески его отговаривал, Паша понял, что карты могут на какое-то время отвлечь его от сердечных мук, так как Людвика по-прежнему ему не отвечала на письма, что свидетельствовало о том, что её голова была занята чем-то другим и, скорее всего, отнюдь не учёбой. Другие девушки его не интересовали, Людвика прочно сидела глубоко в сердце жгучей занозой, и предложение Пети Травкина посетить «салон Студебекера» оказалось как нельзя кстати.

Несмотря на полную несостоятельность Паши как новенького, неискущённого игрока, ему почему-то несказанно везло – после нескольких сеансов наблюдения за мастерами он попробовал играть сам и каким-то удивительным образом выиграл у зубров из компании Травкина и даже сдружился со странным другом Жоры – тоже музыкантом, как и Петя, с цепкими, серо-голубыми глазами и тонкими нервными пальцами, которыми он часто откидывал длинную чёлку с лица или барабанил по столу, обдумывая следующий ход. Это именно он, этот парень, ас преферанса, как его представил сам Студеникин, кинув пронизательный взгляд на Пашу, со-

рвавшему банк в первый же раз игры и судорожно собирающею купюры, сказал: «Она тебя бросила или ты её?» Паша недоумённо посмотрел на него и подумал, ну кто же мог ему рассказать про Людвигу, но это было невозможно, и парень, видимо, сказал это просто наугад и уже потом объяснил Паше старинную картёжную примету.

Да уж, в чём, в чём, а в любви Паше не везло, факт! И он с усердием принялся играть, приходя к Студебекеру, каждую пятницу, если она совпадала с увольнительной, и даже когда он проигрывался и Саша, злобно шипя ему в ухо, тащил его домой, он впервые за всё это скучное время снова чувствовал вкус к жизни и из припадочного Пьеро с запавшими глазами превращался в прежнего Пашу – румяного, круглолицего молодца с соболиными бровями и простодушным и открытым взглядом, каким он всегда и был.

Что до Саши, то он терпел их с братом походы в игровой салон только ради этого – чтоб вернуть Пашу к жизни, – но ему ничего там не нравилось – ни идея тайно собираться на чужой квартире, ни само занятие – играть в карты на деньги было запрещено, и если бы об этом узнали их родители, а тем паче в училище, их обоих с треском оттуда бы выгнали, да ещё могли дать срок – в этом Саша был абсолютно уверен. От отвращения Саша представился в новой компании брата не своим настоящим именем, а первым попавшимся ему на ум – Николаем – отчего тоже очень злился, потому что всё время забывал, что надо откликаться на выдуманное,

чужое имя. А больше всего его раздражала новая привязанность брата – чудаковатый друг Студебекера, музыкант-контрабасист, Сева Чернихин, экзотическая личность, которого почему-то все побаивались, слушались и коим тайно восхищались, причины чего Саше были неясны, и от этого этот Чернихин раздражал Сашу ещё больше. В его взгляде сквозила какая-то надменность и уверенность в том, что он знает что-то такое, чего другие – нет, но вот спроси его, Чернихина, что это там такое особенное происходит в его голове, он и сам бы не смог определить. И чего тогда выпендриваться? А ещё Саша чувствовал, что от Чернихина исходит какая-то опасность, но причину этого чувства он, как ни старался, определить не мог.

И всё же карты – это было одно, а игра в оловянных солдатиков – совсем другое. После того как Витольд увидел, что Паша обнаружил его войско, ему ничего не оставалось, как убрать газету и воззвать к Пашиному стратегическому мышлению, как молодому курсанту училища, тем самым переводя стрелки со странного факта наличия игрушечного войска на его столе в русло привычного для его роли учителя и наставника обучающего момента.

И, странное дело, это возымело свой положительный эффект. Теперь можно было разделить радость обсуждения боя с более или менее подходящей компанией, и, зашагав по комнате из угла в угол, как бывало на уроках, Витольд начал посвящать Пашу в курс дела, смешно жестикулируя и время

от времени поглядывая со всех позиций на противостоящие друг другу армии.

– 13 августа 1704 года... – начал Витольд глухим от волнения, прерывистым голосом и чеканными фразами настоящего командира, который в штабе объясняет задачи операции младшему комсоставу. – Франко-баварские резервные войска дислоцированы с правого фланга под Оберглау, в основном – кавалерия, – он сверкнул глазами совсем как доктор Фантомов своим золочёным пенсне. – Четыре кавалерийских эскадрона в центре и две пехотные роты по краям. А что мы имеем со стороны Англии и принца Римской империи Евгения Савойского? – он заложил руки за спину и стал ходить взад-вперёд, поглядывая на поле боевых действий, основой чего служила тёмно-зелёная скатерть из потёртого штапеля, с тёмными пятнами от чая или кофейного напитка «Ячменный», славно имитирующими то тут, то там выступающие тёмные холмы на просторах севернее Морзенлингена, и прищурился, словно проверял – кавалерия или пехота должна была расположена в центре.

Тем временем Паше, всё еще до конца неуверенному, в шутку или всерьёз ему предлагают принять участие в анализе битвы, почему-то тут же захотелось надеть курсантскую фуражку, и после того, как он это сделал, и потом зачем-то потрогал погоны, всё происходящее уже не носило такой легкомысленный характер, как прежде, а обрело какой-то новый, значительный статус, и он с любопытством глянул на

резервную кавалерию франко-баварских войск.

– На основном направлении, южнее Унтерглау, – продолжал Витольд, всё больше и больше завораживая Пашу своим голосом, становившимся более резким и властным прямо на глазах, – под Бленгеймом, маршал Таллар руководит пехотой, а маршал Марсен – шестью полками кавалерии и двумя резервными пехотными полками. В результате кровавого сражения, в ходе которого союзники потеряли четырнадцать тысяч человек, Бавария была выведена из театра военных действий и отошла к Австрии.

Витольд резко развернулся к Паше, присевшему на стул и не отводящему глаз от зелёной скатерти, и торжественно произнёс:

– Вопрос! Какую ошибку допустили франко-баварские полководцы и только ли манёвр Мальборо перекинуть свои войска к Дунаю определил исход битвы в пользу англичан и голландцев?

Паша нахмурил лоб и стал пристально вглядываться в разноцветные фигурки. Одни стояли на крошечных ножках и держали мушкеты наперевес, направляя их вперёд, на противника, а другие – по всей видимости, кирасиры и драгуны, держа крапчатых под уздцы, тревожно всматривались в пространство впереди себя, готовые в любую минуту по первому зову командующего генерала, отважно пуститься с места в карьер. Паша почесал затылок под фуражкой и задумался...

...В тот вечер они засиделись допоздна, и Глафира после

осторожного стука раза три носила им на цыпочках, чтобы не помешать, на подносе чай с пирожками, кои поглощались не глядя, запиваемые впопыхах обжигающим чаем. В конце концов, оба сошлись на том, что основной ошибкой французского командования было разыграть кавалерию маршала Марсена основной картой, которая дрогнула почти сразу же после наступления пехоты герцога Мальборо, и что если бы не доблесть рядовых пехотинцев и применение впервые штыка в рукопашном бое наряду с мушкетами, то самодовольному английскому герцогу не пришлось бы занести выигранную битву в список своих побед.

В общем, Паша ушёл от Штейнгауза в странном состоянии духа – и приподнятом, как если бы он сам участвовал в разгроме армии Таллара, и в то же время в затуманненном, так как он никак не мог переключиться с мыслей о битве под Блейнгеймом на мысли о том, что, чтобы доехать до дому, ему надо непременно сесть на автобус, и он, пройдя остановку, долго шёл в темноте пешком, ошибаясь и заворачивая в другие, ненужные переулки, и ему казалось, что он попал в какой-то чужой, совсем незнакомый ему город, и когда проезжающий мимо него транспорт освещал улицу короткими вспышками фар, ему казалось, что это сверкают совсем не машины, сконструированные в двадцатом веке, а зарницы от взрывов артиллерии союзных войск, теснящей взводы баварцев к Дунаю. И самое главное, Паша не мог понять, почему он, поверхностно радуясь за армию победителя, в ту же ми-

нугу чувствует такую тоску и разочарование, как будто это как раз-таки его взвод теснили к Дунаю, а не наоборот. И уж самым странным было то, что когда он поравнялся со своим подъездом на улице Красина, 2, он столкнулся в темноте двора с идущей ему навстречу женщиной и практически отдал ей ногу, а с его губ вдруг сорвалось:

– Pardon, madame, – хотя до этого момента он никогда в своей жизни не говорил по-французски.

Женщина не удивилась, пробормотала что-то вроде:

– Où te porte? – и исчезла в темноте.

4

Пока убитая в очередной раз горем Лиза глухо рыдала в чердачной комнате по Тихвинскому переулку, дом десять дробь три, задаваясь вечным вопросом «Ну почему, почему они все меня бросают?», Севка думал о девушке, с которой столкнулся у ворот поликлиники, куда теперь шёл, чтобы окончательно отказаться от инквизиторских уколов, назначенных ему Сергеем Ипатьевичем. Он терпеливо высидел длинную очередь к нему в кабинет, стесняясь сидеть в одной очереди с карапузами, поминутно теребящими родителей, мам «А теперь наша очередь?», когда следующий пациент выходил из кабинета Горницына, но, чтобы избавить своё существование от мук телесных, приносимых ему тощей процедурной медсестрой, впридачу к мукам душевным

из-за разрыва с Лизой, он готов был посидеть в очереди и с грудными младенцами.

У неё были распахнутые, как будто от удивления глаза, – под шум и гам мечтательно вспоминал Севка хрупкую девушку с голубыми глазами какой-то хрустальной чистоты, и опять чувствовал, что этот чуть вздёрнутый нос и миловидное личико хоть и не напоминали никого из его бывших красавиц, всё же приятно волновали воображение.

– Чернихин, заходите, – прервала Севкины размышления медсестра доктора Горницына.

Он зашёл. И обомлел. За столом доктора сидела та самая девушка, о которой он только что думал, она была тоже в медицинском халате и белой кокетливой шапочке и что-то писала. «Новенькая! Наверное, на практике, – подумал Севка. – Хоть бы не заставили снимать штаны, открывать широко рот и делать разные другие медицинские глупости». Он очень смутился, и ему захотелось сразу же выйти из кабинета. Но девушка на него не смотрела и продолжала писать.

Сергей Ипатьевич посмотрел на Севкино лицо и понял причину его смущения.

– Ну-ну, не волнуйтесь, голубчик, сейчас мы вам не будем делать уколы, – он хитренько захихикал. – А ну, откройте рот, – он достал шпатель из стакана с едко пахнущей жидкостью и взглянул на Севкино горло. – Та-а-к, посмо-о-о-отрим. Ну ничего, ничего, молодцом.

– Так ведь у меня не было ангины, доктор, – попытался

напомнить ему Севка, и тут при слове «ангина» молоденькая медсестра вскинула свои глаза-озёра на него, и в эту минуту его как током прошибло. Он вспомнил её. Стрекоза! Это была она – Стрекоза, вернее та хилая, неприметная, но удивительно настырная пятиклашка, которая вместе с ним и Студебекером занималась у Дениса Матвейчука в художественном кружке! Сомнений не было. Её было почти невозможно узнать: из гадкого, неоперившегося утёнка она превратилась в стройного, хрупкого лебедя, с нежной шейкой и тонкими пальчиками, но выражение глаз – любопытных и внимательных – было то же, что и много лет назад: и теперь он понял, почему пронизательный Матвейчук так называл её – она и впрямь была похожа на тонкую, грациозную стрекозу, которая сосредоточенно летела по своим важным делам, не обращая внимания ни на кого, но иногда вдруг останавливалась и в изумлении перед чем-нибудь застывала, зависая в воздухе и наводя свои огромные глаза-калейдоскопы на предмет восхищения, ну или в связи с какой-нибудь другой, возможно, и небескорыстной, целью.

Это открытие было так неожиданно, что Севка попросил у пожилой медсестры, звеневшей медицинскими инструментами, стакан воды из большого графина.

– Кстати, познакомьтесь, – сказал доктор, – это ваша новая процедурная медсестра, Людвика. Севка так и поперхнулся. Только этого не хватало! И имя у неё какое-то старомодное, прошлоековое, как из учебника истории.

Он откашлялся и сказал доктору:

– Так ведь я затем и пришёл, что никаких уколов мне не надо. Я прекрасно себя чувствую.

– Э-э, не-ет. Так не пойдёт, – затянул свою песню Сергей Ипатьевич, – раз начали курс лечения, надо продолжать! А то что это, после первого же укола струсили и – наутёк?

Стрекоза сидела тихо. Она сложила крылья и внимательно смотрела на свои бумаги, хотя в уголках её губ и шевельнулась едва заметная улыбка.

«Вот уже и посмешищем выставили! И чего только я сюда припёрся», – подумал Севка и встал со стула.

– Ну что, Людвика, вы справитесь с нашим больным? – подмигнул Сергей Ипатьевич Стрекозе. Та слегка порозовела, наконец первый раз вскинула глаза на Севку и качнула ресницами как крыльями, с которых смахнула алмазную росу:

– Справимся, доктор, не волнуйтесь.

Севке почудилось, что и она его узнала, хотя навряд ли, он ведь тоже был тогда вихрастым, задиристым мальчуганом, с пятнами от чернил под носом, на щеках, на дневнике и на форменной курточке. Этакий «симпатишный» Буратино. «Вот те на! Буратино и Мальвина, вот так встреча!» – попытался пошутить про себя Севка, удручённо направляясь к двери.

– В общем, не надо мне никаких уколов, Сергей Ипатьевич, и совсем я не больной! До свидания, – он картинно кив-

нул пожилой медсестре, ну и слегка – Стрекозе.

За дверью он, наконец, смог прийти в себя от конфуза и, перешагнув через юркого мальчишку, снующего взад-вперёд перед кабинетом, и чуть не упав, быстро зашагал прочь.

Уже в дверях поликлиники его окликнули:

– Чернихин, подождите.

Он повернулся. Стрекоза, слегка запыхавшись, подлетела к нему и, смущаясь ещё больше, чем он сам минуту назад, быстро прозвенела:

– Поверьте, я не буду вам больно делать уколы, но мне очень, очень нужна эта практика, для поступления, – она замолчала и опустила голову. – Понимаете, если у меня не будет ещё одного года стажа, меня не примут в медицинскую академию, а сегодня уже один больной отказался, – её голос заметно дрогнул, – говорит: «Ещё чего, чтоб мне школьницы уколы делали», и если все будут отказываться, меня никуда не примут.

Севка посмотрел на неё и, несмотря на то, что совершенно не мог себе представить, как это он для укола будет перед ней снимать штаны и, позорясь, стонать от боли, тихо переспросил:

– Не примут?

– Не примут. Туда только после двух лет стажа работы в медучреждении принимают.

Голос у неё против ожидания не был ни писклявым, ни щебечущим, как у многих девиц такой, явно бубновой ма-

сти, а довольно мягким, со слегка низкими нотками. Это будоражило.

– Ладно. Уговорили. Куда приходиться? – буркнул он, пытаясь придумать предлог, чтобы потом не прийти.

– Завтра в 5:30, кабинет семнадцать, – обрадованно прожужжала стрекоза и махнула рукой на второй этаж, но Севка уже развернулся и скрылся в дверях.

Придя домой, он первым делом нашёл Серафиму, чтобы высказать ей всё, что у него накипело – в конце концов, это была её идея с этим идиотским лечением, то порошки давали глотать такие, что типы потусторонние мерещились и одинокая коза в поле блеяла жалобным голосом, то тощая медсестра чуть инвалидом не оставила – полтела снесла своим мастерством, как снарядом, а теперь ещё и перед бывшей однокашницей, милой девушкой, надо будет с голым задом на кушетке лежать и умирать от боли! И это всё называется лечением невроза?

Серафима чистила картошку и молча слушала его отповедь. Когда Севка закончил свою гневную тираду, она спокойно спросила:

– Всё? Откричался?

Севка закусил губу и насупился.

– А теперь послушай, что я тебе скажу.

Серафима отложила нож в сторону и приподняла кисти рук тыльной стороной вверх, чуть растопырив пальцы, чтобы ни до чего не дотрагиваться.

– Ты, конечно, парень уже взрослый, вон какой вымахал, красавец писанный, и можешь делать, что хочешь – лечиться или не лечиться, учиться или жениться, но пока я не увижу, что из тебя что-то путное выйдет, я от тебя не отстану. А со слабым здоровьем далеко не уедешь. И слушать, как ты в двадцать без году лет по ночам кричишь, как помешанный, я не буду. Поэтому хватит тут шуметь и возмущаться. Иди лучше музыкой позанимайся. Уже два дня как из твоей комнаты ни звука не слышала. А завтра иди и делай то, что тебе умные люди сказали. Доктор Горницын ещё нас с твоей матерью лечил, когда в школу бегали, и не доверять ему я не вижу смысла.

Она нахмурила ловко подкрашенные карандашом брови, сжала вишнёвые губы в нитку и сосредоточилась на картошке, показывая Севке, что аудиенция окончена и говорить больше не о чем. Тут с улицы зашёл Григорий с сеткой, полной яблок, и, плюхнув её у ног Серафимы, не заметив Севку, потупясь, поцеловал её в плечико.

«М-д-а-а, тут делать больше нечего», – подумал Севка и пошёл восвояси, пройдя мимо Григория, как мимо мебели. Тот только открыл рот, хотел было что-то сказать, но потом только махнул рукой и снял кепку.

Потренькав чуть-чуть с Амадеусом, Севка раздумывал, как бы так и Стрекозу не обидеть, и уколы не делать, но никак не мог ничего путного придумать. «И откуда только она взялась сейчас на мою голову, – думал он, – лучше б тощая

меня и дальше кромсала вдоль и поперёк. По крайней мере, перед ней не стыдно голышом лежать». Он лениво полистал Золя, но читать не хотелось, почеркал что-то в нотной записи своей недавно сочинённой пьесы, которую мечтал показать Сереброву, однако стеснялся, и, долго ворочаясь с боку на бок, наконец уснул.

Ему, конечно, приснилась студия Матвейчука – потёртые гипсовые головы с разбитыми носами на портфелях вместо подставки, запах краски, клея и папье-маше пополам с душиноватым спиртовым духом маэстро, только вместо Студебекера там почему-то сидел пацан из отделочного цеха с их завода, у которого недавно украли наручные часы, Юрка Толочко, и он и во сне всем жаловался таким же нудным и противным голосом, а рядом с ним, вместо маленькой Стрекозы-пятиклашки, сидела подросшая Стрекоза – Людвика, с напудренным париком на голове, и писала свой эскиз, но не с головы Афины Паллады, а с его, с Севкиной головы. За окном, с улицы раздавались звуки фокстрота, переходящие в мелодии из «Серенады солнечной долины», а потом, когда Матвейчук вышел покурить, в самый разгар урока, в комнату вошёл партийный работник, оглянулся, вытащил из портфеля пистолет и выстрелил Севке прямо в голову. Его кровь брызнула на эскиз Стрекозы, и она громко закричала. На этот крик из сна прибежала Серафима из соседней комнаты – в ночной рубашке, с маленькими белыми бабочками-папильотками на голове, и ему снова было очень пло-

хо, голова лопалась от раскалывающей боли, и он рвал полночи, захлёбываясь от слёз, соплей и холодного липкого пота, а Серафима плакала, подавая ему стакан с водой и вытирая полотенцем лицо. Поминутно причитая «Феули мо, феули мо», она с укором смотрела на образ святого Пантелеймона, который почему-то упрямо её не слышал и не отвечал на молитвы о просьбе пощадить непутёвого племянника, печально направляя горные взоры куда-то мимо них обоих, вбок, а потом – его отрешённый взгляд скользил вверх, сквозь оконное стекло, и останавливался только на кронах клёнов, в свете ночного фонаря потерявших свой настоящий цвет, как будто важнее этого на свете ничего и не было.

5

Паша узнал о приезде Людвики по странному стечению обстоятельств – не от неё самой, как, скорее всего, бы следовало, а случайно встретившись с ней на улице. Он шёл из паспортного стола, куда его отправили родители, чтобы узнать, должны они были временно прописать на своей площади недавно приехавшую к ним в гости дальнюю родственницу матери из Кировограда. У матери – сестры доктора Фантомова – разыгрался артрит, а отец был занят на службе, поэтому решили прибегнуть к помощи молодого поколения. Саша сразу наотрез отказался ходить по скучным учреждениям, где всегда были жуткие очереди, и Паше ничего не

оставалось делать, как согласиться, и после занятий в училище он поплёлся выполнять нудное задание.

Он шёл задумчивый, сосредоточенный и ничего не замечал вокруг, так как в уме проигрывал и просчитывал разные картёжные комбинации. Вперемежку с этими мыслями он думал и о стратегических играх у Штейнгауза. Впрочем, развёртывания исторических битв больше не вызывали у него насмешку, и хоть по форме это были именно игры, но, по сути, это было таким же ответственным занятием, как и преферанс. К тому времени учёба в училище поугасла, у Паши были хвосты, учить математику и физику было скучно, он оживлялся только на стрельбах или на утренней физической подготовке, и никогда не чувствовал интереса к военному делу. Но вот у Витольда, в ходе наблюдения за театром боевых действий, по воле их воображения разыгрывающихся на зелёной с коричневыми подпалинами скатерти, он вдруг по-настоящему ощутил себя если и не полководцем, то уж военным человеком – это точно, чего почти никогда, увы, не происходило на занятиях и даже на сборах. Цели учебных манёвров были либо слишком очевидны, либо зыбки, всё повторялось до мелочей, от них – курсантов – никогда ничего не зависело, и потом эти манёвры всегда выглядели именно тем, чем они и были – придуманными ситуациями с каким-то невидимым, воображаемым врагом, и оттого это всё было неинтересно и только отнимало силы без применения ума. А у Витольда, как и у Студебекера, Паше нравилась ат-

мосфера какой-то секретности, не разглашаемой, тщательно скрываемой деятельности, в которую допускались не все, а лишь избранные, и допускались для того, чтобы раскрыть и продемонстрировать свои таланты – например, наблюдательность, смекалку и умение рассчитывать план действий на несколько ходов опережая противника, причём вполне конкретного – сидящего напротив, как у Студебекера, или притаившегося за холмами коричневых пятен – высот у берегов Эльбы или Флосс-грабена, как у Штейнгауза.

Однако этакая раздвоенность – увлечение запретным и полная скука в отношении необходимого и серьёзного – учёбы – действовала на Пашу и возбуждающе, и угнетающе. Ему не хватало Сашиной прямолинейности – точно определить, что для него важно, а что нет, и он страдал от этого как от зубной боли. «Эх, была бы рядом Людвика, всё бы стало по-другому!» – подумал Паша и свернул с Красной Конницы на улицу Корчагина. И тут боковым зрением он заметил проходившую мимо него фигурку, показавшуюся ему удивительно знакомой. Если бы он точно не знал, что Людвика была далеко, он бы непременно подумал, что это была она.

Паша замедлил шаг и решил оглянуться на прохожую, которая уже перешла на другую сторону улицы, и тут он понял, что это действительно была она! Людвика! Волосы у неё были спрятаны под берет, чуть заломленный набок, а пальто, в котором она была одета, тёмно-зелёное в тёмную клетку, он никогда не видел, поэтому её было почти невозможно

узнать. У Паши защекотало в груди, чуть осели колени, и он, не замечая приближающегося транспорта, бросился за ней. Чуть не попав под колёса надвигающегося на него самосвала, Паша в три прыжка оказался за спешащей и ничего не замечающей Людвикой. Собираясь с силами, Паша ещё какое-то время шёл за ней, шаг в шаг, и вот, поравнявшись с ней на повороте, он схватил беглянку за рукав.

– Ой! Паша! – вскрикнула Людвика, отдёргнув сначала руку. – Как ты меня напугал!

Её лицо было таким же милым и одновременно серьёзным, как раньше, на нём играл румянец от испуга, а скулы и лоб, как и всегда, были бледны. Но где-то в уголках глаз, как и в изгибе удивленных бровей, несомненно, появилось что-то чужое – что-то новое и непривычное. Ошеломлённый Паша стоял и молчал. Он разглядывал Людвику, как смотрят на картину, которую однажды видели в музее, а потом восстанавливали только по памяти, и вот теперь снова пытались сверить – верно ли её запомнили. Выходило, что не совсем.

Людвика тоже стояла молча и смотрела на Пашу. Ей было приятно его увидеть, как старого, доброго друга, но друга забытого, и оттого было очень неловко, и она не знала, что сказать.

Наконец, Паша произнёс извиняющимся, но совершенно счастливым голосом:

– Людвика... Как ты тут очутилась? – он всё ещё не верил своим глазам. Он снял с головы фуражку и стал вертеть её в

руках, как недавно в гостях у её отца.

– Я хотел сказать, когда ты приехала? Почему не писала? Как твои дела? – Паша частил с вопросами, не давая Людвиге слова сказать. Он был взволнован и смущён. Ему хотелось дотронуться до её руки для того, чтобы проверить, а не видение ли это, но Людвика была здесь, перед ним, и близко, и далеко – последнее сильно чувствовалось в том, как она смотрела на Пашу – виновато и в то же время смело и отчуждённо.

– Паша, я так давно тебя не видела, что не узнала и прошла мимо!

«Слава богу, что голос у неё звучал как раньше – ясно и мягко-прохладно, как леденцы «Театральные», – подумал Паша.

Вокруг них сновали прохожие, натыкались на них, и надо было как-то двигаться дальше или отойти в сторону. Паша спросил:

– Ты спешишь?

– Да, – просто сказала Людвика.

– Когда же мы увидимся? – сказал Паша растерянно.

– Приходи к нам вечером, если хочешь, после семи, – сказала Людвика неуверенно. И потом почему-то добавила: – Папа будет дома.

Паша надел фуражку и, не переставая рассматривать Людвигу в упор, всё ещё удивляясь, что она появилась в городе так же внезапно, как и уехала, спросил:

– Можно сегодня?

– Если хочешь, – как-то странно ответила Людвика и, комкая перчатки, стала отдаляться от него. – Извини, мне надо бежать, пока! Я только устроилась на работу!

Она повернулась и скрылась за углом. Паша помахал ей вслед и, постояв ещё немного, побрёл в обратном направлении. Приехала и даже не сказала ему об этом. А может, просто некогда было, или им звонили, и никто не брал телефон? Мать всё время проводит со своей родственницей в разговорах на кухне, могли и не услышать. Ах, как Паше хотелось найти такую причину, по которой Людвика не могла сообщить ему о своём приезде, тогда бы не приходила в голову подлая мысль о том, что она и не собиралась ему об этом сообщать, а по всему выходило, что если бы он вот сейчас случайно не натолкнулся на неё, он бы и не знал о её приезде и, возможно, даже продолжал отправлять ей почтовые открытки! И выходит, она просто не хотела с ним видеться... «Non timebo mala? – спросил себя Паша. И грустно ответил: – Нет, я не убоюсь зла». Отчего-то эта фраза теперь приобрела какой-то совершенно противоположный смысл. Одно дело было не бояться зла, идущего издалека, но как быть с тем, что неумолимо начинало подниматься откуда-то изнутри? Паша споткнулся о порог подъезда своего дома и едва не упал. Должно же быть какое-то решение, должно быть – если карта не идёт к игроку, то игрок должен использовать то, что идёт. А что, что к нему шло? Это было совершенно непонятно.

...Людвика заскочила на крыльцо поликлиники в последнюю минуту перед началом своей смены в процедурном, куда её так любезно согласился взять на работу Сергей Ипатьевич, с испытательным сроком на три месяца. Надо было работать всего три раза в неделю, на полставки, и разгрузить немного Ирму Васильевну Митину, высокую, действительно тощую медсестру за сорок, которая и не подозревала, как её не терпят больные. А если и подозревала, то делала вид, что нет. В конце концов, не на курорт пришли – на уколы, и кто сказал, что не будет больно? Где это видано, чтоб больной не страдал – оттуда и само слово «больной», от слова «боль»! И, конечно, ей доктор Горницын не сказал, что жалобы от населения поступают, а объяснил появление Людвики желанием помочь ей, Ирме Васильевне.

«Только б не опоздать», – думала Людвика, торопясь на свою смену – с 5:30 до 8:30, – а тут как назло Паша! У кабинета уже сидело три человека, две бабушки и тётка неопределённого возраста. «И отчего это женщины так любят лечиться?» – думала Людвика, засовывая ключ в замок и пытаясь открыть дверь под прицелом трёх пациенток, недоверчиво разглядывающих её во время этого занятия. Но дверь открылась сама по себе – вернее, её изнутри толкнула Ирма Васильевна, которая почему-то оказалась на работе, хотя сама же и дала Людвике ключ накануне. «Ну, ясно, пришла проверить, как я начну первый приём! Вот зануда», – подумала Людвика и попыталась натужно улыбнуться. Ирма

сначала бросила пристрастный взгляд на неё, потом на часы на стене, где стрелка в этот момент передвинулась на 5:35, и презрительно хмыкнула:

– Опаздываем!

Ох, Паша, Паша, ну почему от тебя одни неприятности – от угрызений совести до опозданий на работу! Людвика натянула белый халат и, налаживая косынку на голову, глядя в большое зеркало у ширмы возле кушетки, сказала:

– Простите, время не рассчитала, думала, пешком успею, – не рассказывать же ей всю историю про незадачливого жениха.

– Надо правильно рассчитывать, – сухо процедила Ир-ма. – По трудовому уставу ты должна быть на рабочем месте за полчаса минимум, чтобы успеть инструмент из автоклава вынуть и сверить все медикаменты по карте назначения.

– А это разве входит во время моей смены? – вырвалось у Людвики. – Она имела в виду в оплачиваемое время её смены, но про оплату в первый же день, да ещё начатый с опозданием, она не посмела упомянуть. Надев резиновые перчатки, она подошла к автоклаву.

Ирма задохнулась от такой наглости новенькой:

– Ишь ты, входит не входит, какая разница? Так положено, а то вон перепутаешь с перепугу все ампулы – кому чего колоть, тогда мало не покажется! Автоклав не трогай, я уже всё за тебя сделала.

Ирма отёрнула крахмальную белую салфетку с рабочего

стола. На нём аккуратно были разложены ампулы в плоских коробках, шприцы, иглы в футлярах, вата стерильная, спирт. В кабинет постучали.

– Ну вот, уже стучат. Начинай приём. Карты больных здесь – на каталке, из регистратуры принесли.

Ирма накинула пальто. «Хоть бы она ушла сейчас, хоть бы ушла», – думала Людвика, снимая перчатки. Она и так не очень была уверена в своих способностях в качестве процедурной сестры, и, хотя в её Свидетельстве об окончании курсов по подготовке к вступлению в академию, где им добавили «Основы сестринского дела», в графе «Процедурная практика» стояла четвёрка, Людвика знала, что это на самом деле большая, круглая тройка с минусом и это только Анна Николавна ей по доброте душевной с авансом поставила, и ещё потому, что они дружили с Лерой – её любимицей в их группе. «Дай мне слово, Кисловская (она называла Людвигу только по фамилии матери, так как не могла запомнить обе её фамилии), что никогда не будешь в процедурном работать», – говорила она, выводя оценку. И Людвика честно обещала, что не будет, тем более сама туда никак не собиралась. Но по иронии судьбы, в поликлинике, куда ей посоветовал устроиться медсестрой доктор Фантомов, знающий Сергея Ипатьевича много лет и недавно вернувшийся с курорта, нашлась вакансия только здесь – в процедурном! Вот незадача. Но терять время и искать другое место ей не хотелось, а так – три раза в неделю в «своём» кабинете – это не

три ночи в какой-нибудь районной больнице дежурить. Ирма ей здесь совсем сейчас не была нужна. А вдруг ничего не получится?

Чтобы потянуть время, Людвика решила выйти в коридор, якобы выяснить, чья очередь. Так и сделала, взяла ворох карт с каталки и вышла в коридор, приоткрыв дверь. К трём больным присоединился ещё один – «серый» гражданин средних лет – в сером костюме и тёмных старомодных галошах, хотя дождя на улице не было. Ну и компания! Из дверного проёма было видно, как Ирма неторопливо напяливала перед зеркалом шляпу – надо было начинать приём, а она никак не выходила из кабинета.

– Чья очередь? – строго спросила Людвика, косясь на дверь.

– Моя, – ответили сразу двое – бабушка, одна из тех, что приходят на приём за час до его начала, и гражданин в сером.

– Так чья же? – переспросила Людвика.

– Я здесь с пяти часов сижу, – сказала бабушка. – А вот они, – она показала на мужчину, – только что подошли.

– Так у меня запись на 5:40, а сейчас уже 5:45, – невозмутимо сказал гражданин и встал, готовясь зайти в кабинет.

– А тут не по записи, а по живой очереди, – сказала вторая бабушка в поддержку своей товарки. – Занимайте вот за женщиной, – она показала на третью тётку неопределённых лет, жующую булочку с повидлом. – У неё диабет, ей долго ждать нельзя.

– А хоть два диабета, – схамил «серый». – Ни за кем я заниматься ничего не буду. У меня по записи сейчас очередь. И вы меня не сбивайте с панталыку.

От такого поведения больная диабетом даже жевать свою булку перестала, а обе бабушки хором заголосили:

– Да как вам не стыдно, женщина почти что в коме, а он без очереди лезет!

Началась перепалка. На шум выскочила Ирма. Отодвинув Людвигу в сторону, она громко сказала:

– Тихо, тихо, граждане! Как ваша фамилия? – обратилась она к скандалисту.

– Привольников, – сказал «серый». – Тихон Ильич. Я. Ага. Ветеран труда и почётный пенсионер города Песчанска. Я по записи, – он протянул Ирме талончик с временем приёма.

– Что-то больно молодой пенсионер-то! – взвизгнула одна из бабушек.

– Для непонятливых поясню, – сказал гордо Привольников, смотря прямо вперёд, как будто читал лозунги на плакате, – отработал на шахте по добыче известняка двадцать пять лет. Сорок километров от города, – добавил он, сделав ударение на киЛОметров и даже махнув рукой в сторону направления шахты, хотя вряд ли это кого-то интересовало.

Старушки приутихли, диабетчица недовольно откусила кусочек булочки, а Ирма, сделав знак Людвиге, чтобы возвращалась на рабочее место, быстро сказала:

– Всё ясно. Заходите, товарищ Привольников, а вы, – она

кивнула диабетчице, – сразу за ним зайдёте.

Бабушки открыли было рты, чтобы возразить, но Ирма прищурилась и спросила одну из них в упор:

– Людмила Петровна, я ведь вас не на пять, а на шесть пригласила, что ж вы с пяти тут сидите, всю очередь нам переполошили?

Бабушка часто заморгала и не сразу нашлась, что сказать:

– Так я это, думала, что ежели пораньше приду, то никого не будет, и я быстрее...

Не дослушав, Ирма сверкнула глазами на Людмилу Петровну и, опять указав Людвике кивком головы на кабинет, так как та продолжала стоять под дверью в полном недоумении, спокойно сказала:

– Сейчас вас всех примут, товарищи больные, не беспокойтесь.

Людвика очнулась от своего столбняка и зашла в кабинет за Привольниковым.

«Вот это да, вот это профессионализм, – подумала она про Ирму, – и чтобы я без неё делала? Ещё минута – и все бы передрались!»

В кабинете Привольников важно уселся на стул, вынул из кармана пиджака платок и протёр им лицо.

– Так что же получается, вы вместо медсестры теперь здесь будете? А школу-то когда, извиняюсь, окончили?

Людвика вспыхнула. Но тут же решила не обращать внимания на каверзы суматошного, невезучего дня. Про школу

она ничего не сказала, а посмотрела в карту назначений и, напустив на себя как можно более грозный вид, скомандовала:

– Тихон Ильич, зайдите за ширму, снимите брюки и ложитесь на кушетку, вот так, а то мне некогда разговоры вести, очередь ждёт.

Ох, как неудобно, но что делать, медицина – это не в баню сходить, прикрываясь тазом, как говорила Геля, тут всякие стеснения неуместны. Привольников же, к её большому удивлению, послушно выполнил команду – кхекая – тоже, видимо, от смущения, – прошёл за ширму, где долго шуршал одеждой, а потом наконец подал голос:

– Готов.

Людвика уже была на подхвате – молниеносно смонтировав шприц длинными узкими щипцами, проверив проходимость иглы и мысленно поделив щуплую бело-синюю ягодицу Привольникова на четыре квадранта, ловко всадила иглу в крайний верхний квадрант.

– Ой! Ой, больно, больно, – заойкал Привольников. – Ой-ой-ой. Ой, больно!

Казалось, он сейчас вот-вот расплачется.

Людвика, вздрогнув, приложила ватку со спиртом к месту укола и быстро сложила шприц в лоток для использованного инструмента. Потом села за стол, чтобы сделать запись в журнале инъекций. Руки у неё дрожали, и ручка смешно прыгала из стороны в сторону, выводя невразумительные ка-

ракули.

Привольников уже натянул штаны и, продолжая ойкать, сел на кушетку. Людвика не выдержала, оторвалась от журнала, заглянула за ширму.

– Вам правда очень больно? – встревоженно спросила она уже своим, а не казённым голосом. В её глазах застыл ужас, ещё минута – и она бы расплакалась прямо перед ним, ну почему она такая неумеха?

Почётный пенсионер города Песчанска опять вынул платок из кармана, вытер лоб и хитровато взглянул на Людвику:

– Если по-честному, то не очень, – хихикнул он, – это я так, для самоуспокоения ойкаю. Вроде как поойкаешь, глядишь, и не так чувствительно, лечение-то, кхе, кхе...

Хоть и рассердилась Людвика на такую симуляцию, но не удержалась и пристыдила старика:

– Так что же вы меня пугаете, Тихон Ильич! Я же думала, что в сосуд попала или ещё куда...

Привольников встал, ещё раз ойкнул для порядка и направился к двери.

– Ты это, не волнуйся, ага, всё хорошо, а рука у тебя твёрдая, ничего, не дрогнула, так что, ты, дочка, того, шибко не обращай на нас внимания. Мы же того, тоже, чай, не деревянные. Ну и покричать полезно. А укол, он что – поболит маленько и отпустит. Эх, экая же ты остроглазая, аж смотреть больно!

Он подхихикнул и вышел.

– Следующий! – бойкоскомандовала Людвика, сияя от счастья.

Приём пролетел незаметно. А ведь десять человек! С лёгкой руки Привольникова, её рука так и не дрогнула – скорее всего, из страха! Или благодаря похвале почётного пенсионера. Выпроводив последнего пациента, Людвика быстро засунула инструментарий в биксы, а затем – в автоклав, потом проверила на всякий случай все записи в журнале и карте назначений и радостно натянула пальто. Закрыв на ключ дверь кабинета, она вылетела на улицу как школьница, которая сдала экзамен на отлично. Ей было так весело, что захотелось даже побежать домой вприпрыжку, задорно болтая портфелем.

И тут она остановилась. А ведь один больной не пришёл. И как это она сразу не заметила? Она вернулась в клинику, открыла дверь своим ключом и заглянула в карту процедур. Так и есть – Чернихин Всеволод Аристархович. «Ну и имя», – подумала Людвика, и сердце её почему-то отозвалось еле слышным, далёким эхом, как будто поцарапалось обо что-то шероховатое и неровное – с выбоинками, с щербинками, с нелепо чередующимися гласными «е», «и», «и», «е» и торчащими в разные стороны, ершистыми «ч», «х», «с». «Чернихин, Чернихин, – подумала Людвика, – где-то я его уже видела. Или точнее, где-то я это уже слышала. Но где?»

Она взяла перо и написала в графе числа второй инъек-

ции – не явился. Потом сложила все бумаги в папку, закрыла ключом дверь и пошла домой. Бесшабашный задор прошёл. Увидев подъехавший автобус, Людвика заскочила в него почти в последний момент. Идти ей было недалеко, но она почувствовала, что очень устала и проголодалась. За окном автобуса быстро сгущались сумерки, один за другим зажигались фонари, и, хотя она дала себе слово больше об этом не думать, она вспомнила, как Глеб помахал ей на прощание, когда проводил её до трамвая после кафе. Какой это был прекрасный вечер! Ах, Глеб, Глеб, если бы не... если бы ты не...

Тут объявили её остановку. Она вышла из автобуса, с трудом протолкнувшись к выходу, и так и не успела закончить свою мысль. «Где же я всё-таки могла слышать это имя, Чернихин, Чернихин? – опять невпопад подумала Людвика. – И почему он не пришёл, ведь обещал?» Хотя, как оказалось, он ей был уже совсем не нужен – вон сколько больных пришло на приём! И почти никто не жаловался. «А вы, оказывается, лгунишка, товарищ больной – Чернихин Всеволод Аристархович», – усмехнулась она и нажала на дверной звонок своей квартиры.

Её совсем не удивило, что дверь открыл Паша Колесник.

6

Старик Серебров смотрел на нотные записи и прислушивался к неслышному звучанию музыкальной темы, которую

они описывали, а вернее, которой они были. Он то приподнимал брови чуть вверх, то складывал их назад, в сосредоточенную складку посередине лба, то вытягивал губы трубочкой, что придавало ему смешной и даже клоунский вид, то просто начинал невнятно «гудеть», следуя пассажирам, плывущим или скачущим на штилях, флагах и точках нот, расположенных на нотном стане, как воробьи на телеграфных проводах, и иногда, сделав паузу и поправив очки, он либо снова удивлённо вздымал брови, либо недоверчиво хмыкал и нервно подёргивал рукой, в которой держал нотный лист. Севка сидел перед ним, как осуждённый, ожидающий судебного приговора, уверенный в том, что это будет что-то очень суровое и справедливое и – без права апелляции. И зачем его только принесло сюда? «Это всё по прихоти Амадеуса, – думал он». То, что Соната Калёного железа, которую для Сереброва он переименовал в Патетический этюд, понравилась им с Амадеусом, ещё не значило то, что она понравится старому музыканту.

С другой стороны, это именно он, Серебров, на одной из лекций по теории композиции, бодро тряхнув головой и чуть не уронив очки, говорил им, студентам-второкурсникам:

– Друзья мои, не бойтесь сочинять! Моделируйте звуки своих мыслей и чувств в единое произведение. Начинайте с фрагментов, с крупиц, со случайно услышанных или подслушанных у окружающего мира сочетаний и звуков – тех самых скрипов оконных рам и хлопков ставен, которые вдруг

точно передадут ваш испуг или тревогу, или треска пробки от шампанского, который может точно отобразить восторг или приподнятость торжества. Будь то хорал, как у Гвидо Аретинского, или же новый кантус, как у Иоанна Тинкториса, или просто современная авангардная композиция героики каждого дня, пробуйте её услышать, поймать, понять и записать.

Ну вот и записали. А что там Серебров поймёт в этой их импровизации – судя по всему, большой вопрос. «Что за героика дня можно почувствовать в этой сонате, чёрт его знает, – думал юный композитор, – слово какое малопривлекательное – „героика“ – перенасыщенное помпезностью и безликой, драматизированной пустотой».

Тэ-э-к-с! – вдруг громко сказал Серебров и хлопнул ладонью по столу, за которым сидел, да так громко, что Севка вздрогнул. – Инструмент, я вижу, не при вас, Всеволод Аристархович («Что-то они в последнее время все как сговорились – величают меня, как деда какого-то, по имени-отчеству!» – недовольно подумал Севка.), так что, пожалуйста, приходите с инструментом, послушаем ваш этюд. Г-м-м. Патетический, если не ошибаюсь? – он чуть насмешливо посмотрел на заглавие композиции.

Севка нахмурился.

– Вы думаете, стоит, Яков Семёнович? – недоверчиво спросил он.

– Г-м-м, я думаю, что больше да, чем нет, – туманно отве-

тил Серебров, встал со стула, заложил руки за спину и подошёл к окну. – Честно говоря, я действительно мало, что понял, но вы – музыкант несомненно выраженной творческой направленности, так сказать, – витиевато изъяснялся Серебров, – человек неординарный, упрямый и, как мне видится, не склонный к копированию авторитетов, так что пробуйте, ловите, записывайте, но... – тут он замолчал и длинно посмотрел на потемневшие стволы деревьев в окне. – Будьте осторожны. Видите ли, Всеволод, сочинительство – это штука сложная, увлекательная, даже, я бы сказал, азартная. Оно состоит сплошь из взлётов и падений, а зачастую – нудных, изнурительных разбегов, увы, так и не приводящих к взлётам, и вот тогда, – он поднял палец вверх и стал грозить куда-то в окно невидимому врагу, – оно больно бьёт по самолюбию, по самой, так сказать, макушке непризнанного таланта, и знаете, – тут он резко развернулся лицом к слушателю, – иногда может просто убить.

Севке тут же вспомнился странный тип на заброшенном беговом поле, несмотря на то, что говорили они – Серебров и тот тип – о совершенно разных вещах, смысл сказанного удивительно совпадал. «Вся штука в том, что это можно делать без конца. Вы понимаете? Без конца! – пронеслись в голове у Севки слова незнакомца в старомодной жилетке, с сигарой в зубах. – А потом вы не сможете остановиться, потому что конца – нет! Вы понимаете? Конца нет!» Севка вздрогнул. Лица Сереброва против света не было видно, и Севке

показалось, что это он и есть – тот тип с Беговой. Не хватало только сигары и яркой жилетки.

– Ну-ну, я совсем не хотел вас напугать, Всеволод, – уже нормальным тоном сказал Яков Семёнович, глянув на остолбеневшего юношу. – Я просто хочу вас предупредить об ответственности выбранного пути. Если хотите, о профессионализме. Это вам не в ресторанах, понимаете ли, подыгрывать, – тут он отчего-то очень смутился, замялся и, помяв в руках шляпу, оказавшуюся под рукой на столе, сказал: – Подумайте, подправьте свою, так сказать, партитуру, гм-гм, поимпровизируйте с инструментом. И тогда приходите, – он надел шляпу.

Севка встал, всё ещё под впечатлением вздорного видения, собрал нотные листы и пошёл к двери. Когда он открыл дверь, Серебров сказал:

– А вообще, кое-какие места мне определённо понравились, я бы просто переставил пару элементов, пожалуй, в середине и в переходе к финальной части. А так – ничего... Интересно.

Севка сухо сказал:

– Спасибо, – и вышел.

«Что он там услышал, ещё неизвестно», – подумал он. Конечно, все в училище знали, что Серебров мог слышать музыку, читая с листа. И то, что тоже пишет небольшие пьесы для виолончели. Но ведь каждый слышит по-разному. Может, он ничего не понял, и поэтому осторожничал и толком

ничего не сказал?

На улице дул противный, порывистый ветер. Большими, рыхлыми глыбами на небе висели тёмные тучи, которые никак не могли пролиться дождём и оттого ещё больше сгушались и темнели. Севка закутал горло шарфом и поднял воротник пиджака. С грохотом проехавший мимо него автобус пронзительно завизжал на повороте. В такт скрипучим звукам Соната Калёного железа начала гулко отстукивать свой ритм. Пам, пам-пам-пам, па-пам, пам, па-а-а-ам... Пам, пам-пам-пам, па-пам... Нет, ну почему ему вдруг привиделся незнакомец с сигарой? Это Серафима виновата. Она опять накупила подозрительных порошков доктора Горницына после недавнего ночного припадка, вот и мерещится чёрт знает что. И в то же время какой-то глубокий смысл в этих аналогиях, несомненно, был. Игра, музыка – ведь оба занятия очень сродни, и оба увлекают его пока больше, чем всё остальное. Но почему это опасно? Чем? Что они оба: и фатоватый тип на Беговой, и Серебров – пытались мне сказать? Ведь даже Петька Травкин как-то принёс на уроки свою писанину, очень смахивающую целыми кусками на пьесы Кюи, и тот же Серебров его похвалил, правда, как водится, в своём ключе: «Пробуйте, Пётр, дерзайте, только при этом поменьше заглядывайте в партитуры уже известных композиторов». Все просто беззлобно посмеялись, и всё. А тут – осторожно, ответственность, профессионализм! Он поддел ногой ржавую крышку из-под монпансье. Тарарах-тах-тах-

тах! Не буду больше ничего ему показывать. Главное, что нам с Амадеусом понравилось. Он стал переходить дорогу, и, пронёсшийся перед его носом ЗИЛ возмущённо рыкнул басопронундным раскатом, прогрохотал по мостовой и уже почти за поворотом оглашенно засигналил почти что в «до» контроктавы. «Ух ты! – пронеслось в ушах у Севки. – Вот это ас! Вернее, полный, бас!» Он усмехнулся и быстрее зашагал домой, пытаясь удержать в ушах гул и грохот ЗИЛа, чтобы успеть применить их в качестве увертюры для своей следующей пьесы.

Паша не сводил влюблённых глаз с Людвики, пока она расставляла чашки и раскладывала ложки на кухонном столе, готовя припозднившееся чаепитие. Глафиры не было дома, и, несмотря на перенасыщенный событиями день, Людвике пришлось играть роль гостеприимной хозяйки. «Как хорошо дружить в детстве, – думала она, – никаких забот, условностей, сунешь впопыхах другу, забежавшему со двора, попить воды, булочку, завалявшуюся в хлебнице, и тот счастлив. И – айда, опять во двор! Или того лучше – найдёшь в холодильнике открытую банку томат-пасты, залитую подсолнечным маслом, чтобы не зацвела, намажешь её тонким слоем на ломтик серого хлеба, м-м-м, вкуснотища, и борща не надо».

Тут Людвика заметила, что Паша пытливо смотрит на неё и шевелит губами. А, это он спросил её о чём-то, а она и не слышит.

– Что-то? Прости, Паша, я задумалась.

Паша отчего-то смутился и сказал:

– Я спросил, как прошёл твой первый день на работе? – но было видно, что это был не тот вопрос, который он на самом деле задал минуту назад, когда Людвика вспоминала тёрпкий вкус томат-пасты на хлебе.

– Как прошёл? – она замялась. Ой, как не хотелось ему об этом рассказывать, тем более что было непонятно, как ответить: сначала было ужасно, а потом прекрасно, да и это не главное. Словами не передашь свои переживания, и вообще, не всегда хочется обо всём говорить. А Паша совсем не изменился, только лицо стало более резко очерченным, а так – те же участливые глаза, та же смущённая, виноватая улыбка.

Она устало вздохнула и сказала:

– Хорошо прошёл, Паша. Хорошо. Опоздала только, но ничего – пронесло.

Она вспомнила перепалку возле её кабинета. Пожилые люди, а вели себя как капризные, невоспитанные школьники – кто первый, кто второй.

Она налила Паше чаю в новую чашку, аляповато расписанную павлиньими хвостами – явно Глафира купила на свой вкус – и подвинула к нему поближе тарелку с сыром и наскоро намазанными маслом ломтиками хлеба.

– Пап, чай будешь? – крикнула Людвика в дверной проём.

– Спасибо, нет, – ответил Витольд из комнаты. – А может, попозже, не сейчас, – добавил он через минуту-другую.

– Ты устала и не хочешь говорить, – констатировал угрюмо Паша и отхлебнул чаю.

Людвика совсем забыла про эту его черту: когда она или его брат Саша были не в духе, Паша вместо того, чтобы не заострять внимания на больной теме, вдруг начинал описывать как раз то, что не нужно, то, от чего хотелось поскорее избавиться, и это ещё больше раздражало собеседника, который безуспешно старался справиться со своим плохим настроением. А Паша упрямо повторял: «Ты на меня обиделся, ты со мной не разговариваешь», и ещё больше злил противоположную сторону.

– Я, я... – начал было Паша, смотря в чашку. – Я очень по тебе скучал...

О, господи, только не это! Людвика вдруг отложила в сторону свой бутерброд и задорно сказала:

– Паш, а давай намажем хлеб не маслом, а томат-пастой?

Паша чуть не выронил чашку из рук.

– Пастой? – он никак не мог взять в толк, что на неё нашло.

– Ну да, томат-пастой, помнишь, как раньше? Ты что, забыл? После футбола?

Она кинулась к холодильнику и быстро нашла стеклянную баночку, завязанную сверху, как варенье, марлевой салфеткой. У Глафиры был идеальный порядок на всех полочках, и баночки стояли в ряд, как солдаты на плацу – банка с повидлом, банка сметаны, банка с томат-пастой.

Паша всё ещё не мог прийти в себя от такого странного перехода темы разговора, к которому так долго готовился, но отчего-то это было так приятно – снова увидеть прежнюю Людвику, не холодную, взрослую чужестранку-Людвику, как он её про себя уже окрестил, а ту, знакомую с детства, задорную, всегда верховодящую в их компании девчонку, которой они беспрекословно, в случае Саши – не сразу, а через некоторое время, но всё равно подчинялись, и оттого ему сразу стало легко и забавно, почти так же, как тогда, когда он увидел солдатиков на столе у Витольда. Он даже обрадовался, что она не дала ему начать тяжёлый разговор о накопленных за время разлуки обидах и страданиях, которые она ему принесла своим отсутствием, а ещё больше – молчанием.

Жуя бутерброды, Паша и Людвика переглянулись, и одновременно рассмеялись, теперь уже не как два отдалившихся друг от друга человека, а как два товарища по играм.

– Ну а ты-то как? – спросила Людвика.

– Я-то? – переспросил Паша, но сам не знал, как ответить – ведь теперь уже было хорошо, и не скажешь, что плохо. – Слушай, а я, пока тебя не было, научился в карты играть. В преферанс! – гордо выпалил Паша.

– Да ну! – искренне удивилась Людвика, намазывая второй бутерброд Глафириной томат-пастой, думая: «Вот крику-то будет, кинется зажарку для борща делать, а банка – наполовину пуста!»

– Ага, – промычал Паша, запивая свой бутерброд чаем. –

Ты только никому не говори, – вспомнил он про строгую секретность Студебекерского предприятия, – но я с ребятами кое-какими познакомился, и они того, настоящие асы!

– Так вы что, на деньги играете? – удивилась Людвика, не ожидая от Паши такой дерзкой выходки.

Паша потупился и невразумительно отнекился:

– Не то что бы на деньги, а на очки, – врать Людвике он не умел, но тайн клуба выдавать тоже не хотелось, поэтому пришлось сказать полуправду. – Ну кто больше всего наберёт, – добавил он, – тот и выигрывает.

– А потом? – не без лукавства спросила Людвика.

– А потом, потом – шампанское рекой, в честь победителя.

– А-а, – понимающе кивнула Людвика, – я-ясно.

– Ты не представляешь, как это интересно! – воскликнул Паша, беря кусочек сыра. – Это как математика, только гораздо увлекательней! Там главное – не выдать, что у тебя на уме, ну какую разыгрываешь комбинацию. А потом идешь по следу своей счастливой карты или наоборот пытаешься вырваться из безвыходной ситуации. А потом тебя несёт, ты рискуешь, идёшь ва банк, блефуешь, но если повезёт, ты срываешь... – Паша хотел сказать «банк», но спохватился и добавил: – Срываешь лавры победителя!

Тут на кухню зашёл Витольд. Пожал Паше руку, как-то многозначительно посмотрел на него и спросил:

– Когда мы с вами наметили очередное занятие, молодой

человек?

Паша растерялся и неуверенно пролепетал:

– Вроде бы на пятницу, только я, наверное, не смогу. У меня... – он хотел сказать «другая игра», но опять вовремя остановился и только сказал: – У меня стрельбы, Витольд Генрихович. Перед сборами.

– А вы что до сих пор математикой занимаетесь? – спросила Людвика, подавая чашку с чаем отцу.

– В некотором роде, – ответил Витольд, усаживаясь напротив Паши; он положил в чашку два кусочка сахара и добавил: – В некотором роде математика присутствует везде, – и снова посмотрел на Пашу.

Людвика воспользовалась моментом, встала из-за стола и сказала:

– Ну ладно, вы тогда договаривайтесь, а я пошла спать, поздно уже, одиннадцатый час. Папа, тебе тоже скоро спать – у тебя утренние пары.

Спать действительно очень хотелось. Она пошла в свою комнату и плюхнулась на кровать. Голова гудела и руки как обручем свело – слишком напрягалась, чтобы как следует шприц держать, не уронить, и в то же время «бить лёгкой рукой», как говорила Лера. «Удар должен быть точным, но лёгким, Людвиг, – говорила Лера, – ты не держи руку камнем, а то у пациента на попе синяк будет. Потом по судам затаскает».

«Вроде сегодня не держала руку камнем, – думала Людвика».

ка, ощущая, как склеиваются глаза и руки становятся тяжёлыми от сползания в тягучую дрёму. – Что ни говори, чему-то я научилась за то время, – крутились мысли у неё в голове, – за время, что просидела в Ленинграде, до врача мне ещё далеко, а вот уколы как-никак научилась ставить».

Перед ней опять нарисовалась очередь: две крикливые старушки, тётка с диабетом, жующая булочку, серый гражданин – заслуженный пациент, то есть пенсионер города Песчанска, Привольников Тихон Ильич, процедурная медсестра Ирма Васильевна, Паша в курсантской форме, бегущий за ней по улице, и пациент, который сегодня не пришёл к ней на укол, – Чернихин Всеволод Аристархович, который вдруг помахал ей вслед и голосом Глеба сказал: «Какая же вы невероятно правильная и положительная, ЛюдВика Витольдовна! А ведь доктор должен быть чуточку сумасшедшим, чтобы помогать больным. Вот мне, например. Вы же видите – я болен. Очень болен».

– Так болен, что на укол не явился, – в полусне выговорила ему в ответ Людвика строгим голосом и, не раскрывая глаз, вытащила из-под себя одеяло, кое-как стащила домашний халат, обняла подушку и заснула.

7

Старая Юлдуз почуяла неладное, когда увидела возле своего двора карету скорой помощи и нервно курящего мили-

ционерера. Неужто ограбили! Тогда зачем скорая? Она уронила сумки с продуктами и схватилась за сердце. «Ой ты ж, господи! Неужели под половицей, в спальне нашли, ироды, сбережения трудовые?! Или в кухоньке, за буфетом? Только не это, сколько ж это я там припрятала?» – вспомнила, ужаснулась. Заохала, забормотала по-татарски.

– Это вы хозяйка жилплощади будете? – спросил усатый пожилой милиционер, когда скорая уехала. – Что ж дочку не бережёте, мамаша? Еле откачали.

– Какую такую дочку, – перепугалась Юлдуз, – отродясь замужем не была. В девицах я, – и потупилась. – Ах, так это постоялица моя, Лизка, что натворила, окаянная? – Юлдуз немного успокоилась – значит, не ограбили.

– Так таблеток наглоталась, еле откачали, – повторил милиционер. – Соседи вызвали, подумали, померла совсем. А я гляжу – дышит вроде, хотя и белая вся, чисто простыня накрахмаленная, – сокрушался милиционер, – но успел скорую вызвать. Вовремя.

Юлдуз опять быстро забормотала по-татарски. Потом зачертыхалась по-русски. Сумки подняла, положила на скамеечку. Махнула рукой милиционеру:

– Вы присаживайтесь, гражданин уполномоченный. Говорила я ей, чего ты с ними всеми носишься, не фарфоровые, не разобьются. А она – ни ест, ни пьёт, на кровать ляжет, глаза закроет и воеет, как зверь подбитый... Или шакал степной. Как будто убили. У-у-у, – Юлдуз закатила глаза и пока-

зала, как Лиза воет.

– Та-ак, с кем, говорите, носилась потерпевшая? – милиционер навострил уши и вынул блокнот и ручку из нагрудного кармана.

– Так с ними. С мужиками.

– Это какими же такими мужиками? – выпучил глаза милиционер.

Юлдуз испугалась, что дело запахло жареным – ещё успеют за то, что разрешала Лизе мужчин разных водить по ночам, что дом свиданий устроила, и сразу деланно запричитала, нарочно коверкая русские слова, хотя до этого говорила чисто – без малейшего акцента.

– Ох, и не слушчай моя, начальник, дорогой, и сама я незнай что говорил, ой что натворил, окаянный, шайтан попутал, убивать себя задумал, молодой совсем!

Юлдуз закрыла лицо руками и затрясла головой.

– Ты чего, чего мелешь-то? Какой шайтан? Мужики, говорю, какие к ней ходили? – забеспокоился милиционер. – А ну выкладывай.

Юлдуз трясла головой и ругалась по-татарски.

Милиционер не выдержал и рявкнул:

– А ну, концерт прекратить! Говори, какие мужики к ней ходили?!

Юлдуз перестала трясти головой и быстро зашептала:

– Какие такие мужики – нет никаких мужиков. Ошибся моя, гражданина, по-русски не знай совсем. Слова путай. Па-

цан у неё был. Долго ходил, туда-сюда. Цветы, фрукты носил. Бросил потом. Ай-й-яй, совсем бросил! Ая-яй-яй! Как собака бросил! – снова попыталась запричитать Юлдуз, но под тяжёлым взглядом милиционера, прекратила.

Встала со скамейки, сумки подхватила.

– Не знай ничего, не знай! Что знай – всё сказал. Уходи со двора, не знай ничего.

И сделала такую гневную рожу, что милиционер вконец растерялся.

Он посмотрел на Юлдуз и понял, что, пожалуй, ничего он из сумасшедшей старухи не вытянет, и пошёл к соседям. Только тех как ветром сдуло, притихли – вид сделали, что ушли куда-то. Долго пёс на цепи лаял, разрывался – на стук никто не вышел. Милиционер снял фуражку, сплюнул на землю, снова надел фуражку и пошел прочь.

– Балаган какой-то устроили! Одни сбежали, другая чушь несёт. Третья травится. Ну и смена!

...Лиза лежала на длинной узкой кушетке в коридоре психушки, так как места в палате для неё пока не было. Больница была старая, с лепниной по потолкам, которая из-за отсутствия ремонта потеряла правильные контуры выпуклых декоративных лепестков и закруглённых розеток, и теперь просто свисала с потолка грязно-белыми, пыльными наростами неопределённой формы. Лиза так долго смотрела на эти наросты, что ей показалось, что они начинают шевелиться как гипсовые змеи на шарнирах, которых продавали на

базаре вместе с другими незатейливыми фигурками – слониками, черепахами и кроликами. Ей казалось, что она всё ещё спит или видит сон сквозь закрытые глаза, и, только пошевелив рукой и почувствовав горечь во рту, она поняла, что проснулась. Её трясло, как в лихорадке.

В коридоре было темно, пахло плесенью, толстой медицинской клеёнкой оранжевого цвета и хлоркой. Время от времени из-за плотно закрытых, высоких дверей слышались невнятные звуки: то ли речи, то ли кошачьего мяуканья, а иногда совсем неразборчивые, похожие на пыхтенье, скрежет и свист одновременно, как будто кто-то полз по отвесному склону горы, пытался залезть наверх, но едва достигнув вершины, неизменно сползал вниз, отчаянно цепляясь за ускользящие из-под ногтей комья сухой земли.

Ей хотелось встать с кушетки и уйти от этой гадкой смеси отравляющих запахов и пугающих звуков, от отсутствия воздуха и света, но она не могла заставить себя двигаться, так как нервная дрожь, исподволь начинавшая колотить её тело, отнимала все силы и душила набирающей силу волной, пронизывающей её до костей. Ей показалось, что она снова вернулась в тот день, когда ей старый вахтёр сказал, что Ульфата больше нет, и от этих слов она сначала окаменела, а потом ей стало так больно, что другого выхода, чем поскорее избавиться от этой жалящей изнутри боли просто не было. И поскольку боль жгла её изнутри, не было смысла тлеть на её чадающем костре, как подмокшая под дождём лучина, и то-

гда она дождалась, пока кастелянша ушла из прачечной и... и... Лиза отвернулась к стенке от прохода в коридоре, где стояла её раскладушка на длинных, крест-накрест прибитых деревянных ногах, и беззвучно заплакала. Вернее, она поняла, что плачет, по тому, как щёки стали мокрыми и липкими и солёные струйки стали затекать ей в рот. В ушах было как-то пусто и одновременно гулко. «Почему меня никто не любит? – думала Лиза, и плечи её судорожно вздрагивали от всхлипов, которые сдавливали горло тяжёлыми железными тисками. – Почему я никому, никому не нужна? Ни матери, ни отцу, ни бабке Ляйсан, ни даже старой Юлдуз, никому! А им, что я им сделала плохого?» Думала Лиза про тех, кого больше всего любила, и почему Ульфат ушёл как раз тогда, когда она почувствовала, что он, наконец, обратил на неё внимание и даже ждал, чтобы она поскорее пришла. Он очень стеснялся их неожиданно свалившейся то ли дружбы, то ли влюблённости, ведь он был всегда на виду, героем, на него заглядывались самые хорошенькие девчонки, и то не всегда получали должного внимания, а тут она – Лиза, нескладная, страшная, «немая» тунгуска, странное создание из какого-то другого мира, дикое и угрюмое, а вот поди ж ты, такой гордый и сильный Ульфат влюбился именно в неё.

Ошибки быть не могло – уж что-что, а любовь для Лизы была состоянием жизни или смерти, и, когда она жила, значит – любила. А когда летала от счастья – значит, любили её. Всё остальное было серым, ненужным и неинтересным.

Она помнила его смущённый взгляд, когда пришла после их первой встречи, чуть дрожащие пальцы рук, когда он поздоровался с ней по-мальчишески – резким, крепким рукопожатием, а потом он всё время прятал глаза, много курил и молчал, смотря в пол, словно проверял, происходит ли с ним на самом деле то, что он думает, что происходит, или что-то другое. Но нет, наваждение не проходило, сомнений быть не могло – то, что не удавалось чудо-красавицам – растопить его, окаменевшее после смерти матери сердце – удалось не кому-нибудь, а именно ей, этой доходяге, Лизке-тунгуске, и от этого у него голова шла кругом, пересыхало во рту, он злился на себя, чертыхался, старался об этом не думать, но ничего поделать с собой не мог, потому что ему снова и снова хотелось сжать её худющие, почти костлявые плечи, сильно, так, чтоб они захрустели, и снова почувствовать этот обжигающий, томивший его душу и тело жар, который странным образом исходил от неё, когда она оказывалась рядом. И он вспыхивал, как спичка от этого жара и необъяснимо сгорал, сгорал...

..Лиза пыталась понять, почему они все её покидали. Все. Даже Колька Стеклов, крановщик, простодушный, обыкновенный парень, он, конечно, совсем не был похож на Ульфа-та, просто в какой-то день, когда она шла со смены домой и грянула гроза, он увидел, как она бредёт под проливным дождём в прилипшем как папиросная бумага летнем платье, и предложил подвезти её на своём Газике. И хотя ей даже

нравилось так брести под тёплыми струями дождя, который щекотал ей колени и гладил волосы, прилепив их к затылку, она села, и он её подвёз. В машине он заботливо накинул на неё свой пиджак. «Ишь ты, как промокла, до нитки», – усмехнулся Колька и стал вытирать чистым носовым платком ей лицо как маленькой. Потом рассказывал про своих дочек, которые рисуют карандашами, боятся мышей и любят прыгать через лужи, а потом, когда высадил Лизу и она стала снимать с себя пиджак, чтобы отдать ему, почему-то засмотрелся на неё, и в его глазах появился испуг.

После этого они стали встречаться, Лиза снова засветилась от счастья, а через некоторое время он умер. Из кабины своего крана выпал. Задумался ли о чём? И вот теперь Сева... Боль полоснула как остриём ножа где-то внутри. Он такой... То весёлый, то молчаливый, с ним спокойно и тихо. Она вспомнила, как заметила блики солнца на его чуть заострённых скулах, тогда у Теплёва в цеху, когда он что-то беззаботно напевал себе под нос. Через острую боль при упоминании его имени ей стало полегче. Господи, сколько же дней она его не видела? Пять? Семь? Все они слились в одно монотонное белёсое полотно, как будто склеенное из плотного картона, где не было ни дня, ни ночи, ни суток, ни часов. Оно длилось без конца и мучило её своим ничем. Как будто попала в клетку. Лиза перестала плакать. Только бы не вернуться назад, только бы не вернуться.

– Ну вот и очнулась, царевна-несмеяна, – послышался

скрипучий голос откуда-то сбоку. За ним последовали шаркающие звуки.

– И то, и то, пора, пора.

Лиза отвлеклась от своих мыслей. Притихла. Наверное, нянечка. Голос продолжал:

– Я ведь, только на смену пришла, а тут – глядь, привезли девицу-красу, с чёрной косой, сама белая, ни кровинки. Будто мёртвой водой окропили, да про живую воду-то забы-ыли, ой забы-ыли. Как звать-то тебя, краса горемычная?

Лиза молчала. А про себя подумала: «Нет у меня имени. И меня самой нету. А та, что была, – исчезла. Убили. Сначала на проходной интерната, а теперь вот – в парке на скамейке. Синильга я, привидение-сон, немая тунгуска».

Нянечкин голос продолжал:

– Ну нет имени, так нет. Потом вспомнишь, ничего. Ты лежи, сердешная, отдыхай. Намаялась, поди. Три раза желудок промывали, наизнанку вывернули. Желчью харкала. И чего такого наглоталась? Вон какая коса у неё, а она – на тебе, таблетки глотает. Кабы я была да с такой косой! У-ух! Ну ничего, ничего, пройдёт и это. И э-это.

Лиза не шевелилась, но отчего-то манера старушки повторять одни и те же слова подействовала на неё усыпляюще. И постукивание швабры по полу, шлёп-шлёп, и звон стекающей воды от выжимаемой тряпки в ведро, плёск-плёск, всё напомнило ей что-то далёкое, знакомое, домашнее, давно позабытое. Она закрыла глаза. «Не плачь, тунгуска, – сказала

она себе, хотя слёзы и так уже почти высохли. – Не плачь, не первый раз надо снова научиться жить, упав за смертью, а он, он ещё пожалеет, что обидел её. Ещё как пожалеет!» Лиза совсем успокоилась и, внимательно прислушиваясь к мерному стуку настенных часов, медленно растворилась в бормотании нянечки:

– И то, и то... пора, пора... ничего, ничего... тик-так, тик-так... хорошо, хорошо... Хорошо...

...Людвика шла по улице и смотрела себе под ноги. Блестящие от мокрого, быстро тающего снега, с лип и тополей слетали листья и, приземлившись, прилипали к асфальту, а если она на них наступала, то и к её ботинкам. Кое-где лужи подёрнулись хрупким ледком и с треском крошились под её каблуками, в то время как нога приятно проваливалась вниз, под лёд. «Совсем как поздним ноябрём, когда надо было по морозному утру идти в школу, – подумала Людвика. – Как быстро летит время! А раньше оно ползло бесконечно: уроки, зарядки, политинформации, классные собрания, кружки, занятия музыкой, рисованием, немецким, мамины болезни, папины контрольные, и снова уроки, уроки, уроки... А теперь, кажется, не успеешь подняться с постели, вот уже и вечер, и всё по кругу, по кругу, а что же дальше?» Она совсем приуныла.

Тут её кто-то окликнул. Вернее, просто сказал:

– Здравствуйте, доктор!

Людвика подняла голову и увидела перед собой молодого

го человека, который неделю назад не пришёл к ней на приём. Больной Чернихин! Но больной выглядел довольно здоровым. Она его даже не сразу признала. У него были дерзкие сероватые глаза, тёмно-русые волосы, упирающиеся неровными прядями в воротник пиджака, напоминающего полупальто, а на шее красовался малиновый шарф, закрученный как удав толстыми кольцами поверх воротника, под самый подбородок. По щекам прошёлся нежный румянец. Вид у больного был нелепый и в то же время занятый. В его глазах играли лукавые огоньки.

Доктор? Так он ещё и шутит? Людвика сдержанно кивнула. Она пошла дальше, как бы показывая шутнику, что некогда ей с ним тут балагурить. Смена прошла тяжело, и людей-то было немного, но руки отчего-то сегодня её не слушались. Сначала она разбила ампулу с анальгином и амидопирином, пришлось возместить пациентке ущерб в размере двух с полтиной, потом поскользнулась на вымытом полу в регистратуре, куда бегала за карточками, и чуть не упала, и вообще, у неё было плохое настроение и болела голова.

– Вы на меня сильно обиделись? – спросил больной, задорно шагая рядом с ней.

Людвика нахмурилась.

– Правда, я хотел прийти, но... – он замолк. – Но как представил себе, что ведь придётся штаны снимать, для укола, так и передумал. Неудобно как-то. Только познакомились, и тут – штаны...

Людвика покраснела, но едва заметно усмехнулась. И правда... неудобно. Она искоса посмотрела на больного. Профиль у него красивый. Гордый. А так – вид странный, шарф этот, как у стилиаги, портфель под мышкой, как у старика. Портфель, портфель... Что-то мелькнуло в её памяти, мимолётное, неуловимое, где-то что-то такое она уже видела. Нет, портфель, конечно, она у многих видела, но именно то, как он держит его, чуть приподняв левое плечо вверх, ей явно показалось знакомым.

– Так вы не сердитесь? – не унимался молодой человек. – Ну скажите, что нет, а то я всю ночь спать не смогу, – сказал он и почему-то замялся, как будто вспомнил что-то очень личное.

– Да нет же, всё в порядке, – отрезала Людвика, перестав его рассматривать. Она остановилась. Что-то в нём было одновременно раздражающее и привлекательное, и она никак не могла определить как к нему относиться.

– Чернихин, если не ошибаюсь? – прищурилась она.

– Он самый, – дурашливо сказал больной и пожал плечами.

– Так вы же в списке на уколы, а уже неделю пропустили. Вам назначение никто не отменял.

Она отчего-то всё больше злилась на него. Баламут какой-то.

– А вы просто напишите, что так, мол, и так. Больной был, курс лечения прошёл. Он бойко хлопнул себя пониже спины.

Людвика вскинула на него возмущённые глаза-блюдца.

– Не хотите лечиться, тогда идите к своему доктору, пусть он вам лечение отменяет. Я за вас отвечать не собираюсь.

– Ну вот, вы опять на меня рассердились, – уже вроде без лукавства протянул больной.

– Вы знаете, во всём должен быть порядок, – назидательно провозгласила Людвика, вспоминая своих родителей. Так они наставляли её перед школой. Школа... Школа! И тут Людвика вспомнила. Она зашагала дальше, а сама опять украдкой посмотрела на спутника. «Где же я его раньше видела? Где? Постой, постой... Так мы же с ним... да-да, мы с ним в одной школе учились... на кружок к Денису, как там его, Григорьевичу, кажется, по рисованию ходили. И ещё там толстый такой был мальчик, одноклассник его, кажется, Жора. Так втроём и занимались – головы гипсовые копировали. Афины Паллады и корзины с фруктами из папье-маше. Смешно!» – она остановилась и прямо посмотрела в глаза больному. Он тоже остановился.

– Неужели это всё-таки вы? – странно спросил Чернихин, заметив, как тот же вопрос, что вертелся у него в голове, застыл и в её удивлённых, хрустальных глазах. Он, конечно, хотел бы сказать: «Неужели это ты, Стрекоза?», – но вовремя переформулировал вопрос.

– А это – вы? – удивлённо сказала Людвика, вспоминая озорного шалопаю с чернильными пятнами на рукавах, вечно торчащими полами рубашек из-под ремня, и в сбитых бо-

тинках с волочащимися по земле шнурками, который непонятно зачем ходил на этот кружок. – Вы – тот самый Черниха, который всем в школе сбивал ногой портфели?

– Я, – почему-то обрадовался больной, смущённо опустил ресницы и потом, чуть наклонив голову, так глубоко взглянул в её синие глаза, как будто пытался там прочесть что-то очень важное или удостовериться, что чудеса бывают, алхимические метаморфозы с людьми происходят, и поэтому из лупоглазой, тщедушной Стрекозы с двумя тонкими косичками и впрямь смогла вырасти такая неприступная и строгая... да нет, не красавица, но очень самостоятельная, милостивая медсестра, к которой его, без сомнения, начинало тянуть как магнитом.

Оба рассмеялись.

– А где же ваш друг Жора? – спросила Людвика, снова азартно наступив на замёрзшую лужу, которая прекрасно треснула под её каблуком – гладкая поверхность прозрачного ледка тут же превратилась в раздробленную трещинками сбитую мишень, из центра которой захлюпала чернеющая вода.

Севка тоже наступил на такую же лужу, но поскользнулся и чуть не упал, чудом успев удержать портфель под мышкой. Людвика подхватила его под локоть.

– Жора? Студебекер? – спросил Севка, поправив портфель и порозовев от смущения. – Так ты... Так вы и его помните?

– Ну как же не помнить, пончик такой, – вырвалось у Людвиги. – То есть я хотела сказать, крупный такой мальчик, – поправила она, – почти всё время громко сопел и засыпал над рисунком.

– Ну да, а Матвейчук хлопал руками над его ухом и возмущённо кричал: «Не спи, Студеникин, всю жизнь проспичь!»

– А он, просыпаясь, говорил учителю: «Денис Григорьевич, вы же сами говорили, что служенье муз не терпит суеты, вот я и не тороплюсь...»

Оба снова рассмеялись. Людвика заметила, что её головная боль как-то сама собой прошла. Она отстранённо посмотрела на верхушки клёнов, словно вновь увидела картину прошлых лет – их школу, захламлённую эскизами студии художника Матвейчука, с яблочными огрызками, застрявшими между прогнившими рамами высоких окон, покрытые пылью муляжи и гипсовые головы с отбитыми носами, томлящиеся на запылённых полках, засиженные мухами карандашные работы под стеклом то ли учеников, то ли самого художника на стенах – портреты Сталина, Дзержинского, Любови Орловой, Веры Марецкой и почему-то древнегреческой царицы Медеи; тёмные клёны и желтеющие акации заднего двора за окном, запахи разбавителей, масляных красок, гуаши, канцелярского клея, муки для клейстера, машинного масла, которым учитель пользовался с гордостью всего школьного двора – мотоцикл К-1Б, практически полную копию немецкого Wanderera, из-за чего к ним во двор постоянно сбегали

лись мальчишки из соседних школ и ПТУ.

Она как будто опять ясно увидела группки малолетних ротозеев, гордого Матвейчука, уже сильно под мухой, несколько раз кряду объясняющего принцип работы двигателя мотоцикла, и будто слышала недовольные комментарии уборщицы бабы Ани «Носются тут, как скаженные, за ними не наубираешься вовек», звон кастрюль в столовке, чириканье воробьёв на улице. Вот звенит звонок, мальчишки хватают ранцы, бегут стайкой в классы с высоким неудобными деревянными партами, крашенными в тоскливый серо-синий или тёмно-коричневый цвет, начинается урок, но никто не слушает учителя, а все шушукаются, шмыгают носами или пялятся на что угодно, только не на доску с каллиграфически выписанным вечным словосочетанием «Классная работа», время из тонких прозрачных нитей сгущается в плотный, картонный комок, который заполняет собой пространство, поглощает мысли и звуки, и от этого голос учителя кажется далёким и монотонным, и тянется, тянется невыносимо долго, и как казалось – так будет всегда... Она снова вернулась в студию Матвейчука, где они втроём – пятиклассница Людвика и два семиклассника – Севка и Жора, невесть каким образом и зачем записавшиеся на этот кружок, тоскливо срисовывают бюст какого-нибудь богом забытого грека...

Людвика дошла до поворота Лапушинского переулка. За ним, через два других, уже была её улица, и она не хотела, чтобы кто-то из своих видел её с этим странным парнем.

Она остановилась и неожиданно для себя самой подала руку «больному», который оказался таким давним её знакомцем. У него было приятное рукопожатие – не сильное и не слабое, не липкое и не сухое, а такое же, как и он сам – слегка забавное и одновременно серьёзное, чуть порывистое и отчего-то как будто уже знакомое.

– Ну, пока, больной Чернихин, – сказала Людвика улыбаясь и давая ему понять, что дальше она пойдёт сама, – мне тут недалеко.

– Ну, пока, – сказал Севка и хотел добавить «Стрекоза» и тут спохватился, что совершенно не помнит её имени. Вернее, он помнил, что доктор Горницын представил её Севке тогда, в кабинете, и что он тогда даже подумал, что имя у неё старомодное, громоздкое, но вот какое? Там было вроде сочетание букв «д» и «в». Евдокия? Ядвига? А тогда, в школе, много лет назад – ему и в голову не приходило спросить, как звать какую-то там пятиклашку.

Увидев его замешательство, Людвика спросила:

– Вы забыли, как меня зовут?

– Так получается, – тупо констатировал Севка и устыдился того, как точно она угадала причину его замешательства.

– Меня зовут Людвика, – сказала Людвика и повернула за угол.

Севка хлопнул себя по лбу. Ну конечно, вот они – «д» и «в» – рядом, вместе. Людвика. Громоздкое. Старомодное. Вернее, не старомодное, а, скорее, историческое. И тут же

извечная привычка каламбурить по поводу и без добавила к нему ноту «до» – первый звук названного имени, – чтобы получилось совсем смешно – доисторическое. Амадеусу бы непременно понравилось.

Перед тем, как скрыться за углом, она обернулась и добавила:

– А на уколы всё же приходите. Здоровьем не шутят. В понедельник, с трёх до восьми.

– Ага, – буркнул обескураженный Севка, почесал затылок и поплёлся дальше по Лапушинскому. Хотя сказано это было мило и со смешком, ему почему-то показалось, что по твёрдости совет напоминал приказ командира танковой дивизии, но ещё более странным оказалось того, что не подчиниться этому приказу он теперь не только не захочет, но уже и не сможет.

Он остановился у ларька «СОКИ-ВОДЫ» с тремя конусами, опрокинутыми вниз верхушками: жёлто-оранжевым, вишнёвым и прозрачным – с газировкой – и, заплатив пять копеек, попросил стакан вишнёвого сока. Тёрпкий вкус вишни приятно распространился по языку и нёбу, как воспоминание о лете, а расторопная продавщица в клеёнчатом переднике на животе, заметив Севкин туманный взгляд, сказала:

– Пейте, пейте на здоровье, молодой человек, последние деньки пришли!

Парень удивлённо вскинул на неё бровь:

– Это почему же последние?

– Так скоро закрываемся. На зиму, – удивилась непонятливости паренька продавщица и, приняв уже пустой стакан, нанизала его на краник для мытья. Пару раз отвернув рукоятку мойки против часовой стрелки, вжик, вжик, брызгающим во все стороны фонтанчиком она ловко промыла стакан от остатков сока, медленно стекающих по гранёной поверхности стекла с доньшка – к краям, тряхнула пару раз и поставила его назад – к стоящей на мокром подносе дюжине других стаканов. Подхватив из ниоткуда мокрую тряпку, быстро протёрла клеёнчатую поверхность прилавка «СОКОВ-ВОД».

– А-а, – протянул молодой человек и почему-то расстроился.

– Вот тебе и «а-а-а», – передразнила продавщица паренька с портфелем под мышкой. – «Усы» вишнёвые подтёр бы, а то так и пойдёшь, людей смешить.

Тот сконфуженно подтёр «усы» тыльной стороной ладони, обернулся в сторону, где один переулочек уходил за угол другого, словно догоняя и перегоняя его, покрепче прихватил свой портфель и чуть враскачку пошёл прочь от ларька, закутывая подбородок в кольцо тяжёлого шарфа – почти такого же цвета, как только что выпитый им сок. «Последние деньки, – думал он. – Почему последние? Что, разве соками и водами нельзя торговать и зимой? Так получается... Как люди умеют усложнять себе жизнь! – он вспомнил про Амадеуса: – Как там мой ворчливый маэстро? Всё глотает пыль

по моей вине. Надо бы попробовать с ним эту тему – морозный воздух, хрустящие под ногами листья, потрескавшийся на лужах ледок, и, конечно, конечно, они – хрустальные капли прозрачных глаз Стрекозы Людвики».

8

Витольд захлопнул главу семнадцать «Битва при Брейтенфельде 1631 года» раритетной энциклопедии «Великие сражения мировой истории» под редакцией Зоргенфрея и Тюлелиева, издательства Вольф, 1908 года, и положил её на письменный стол. В течение нескольких минут он сосредоточенно барабанил по столу, наморщив лоб. Разумеется, до-революционным издательствам он доверял больше, чем современным, доморощенным, как сказала бы Берта, которая любила употреблять это слово в совершенно разных контекстах, но всегда – крайне негативно. Для Витольда всё, что было издано «до» и «после», было всё равно, что живая и мёртвая вода в русских сказках – от одного веяло искрой жизни, компетентности и ума, а от другого – пахло чёрными кожаными креслами высоток на Воробьёвых Горах или у Красных ворот, где он никогда не был, но представлял себе их отчётливого и ясно благодаря многочисленным фото из журнала «Огонёк».

Первое, то, что было издано «до», отличалось живостью авторских суждений, наряду с изысканно оточенной схо-

ластикой традиционного академического жанра, другое же, «после», звучало как сухой, мёртвый, плохо скомпонованный отчёт-реферат, который с таким же успехом мог выйти из-под пера любого чиновника любой конторы и к истории, по сути, имел мало отношения. Вернее, в понятии Витольда была история, и были истории об истории. Тут Берта была абсолютно права – последнее, история как жанр современного письма, была полностью доморощенной, а именно – плохо сочинённой, плохо написанной и всегда примитивно разделённой на наших и ваших. Ну как человеку современности было разобраться в том, кто для него были наши, а кто ваши, в, скажем, морском сражении у мыса Экном в 256 году до н. э. – карфагеняне или римляне? Несомненно, доля истины в таком разделении была – вольно или невольно зритель любого сражения может испытывать симпатию к одному участнику и, соответственно, антипатию к другому, но симпатии и пристрастия ещё не тождественны полной ассоциации с армией того же Антилия Регула или, наоборот, его противника, карфагенянина Гамилькара Барка, и потому читать о последствиях морского боя с акцентом на то, что римские крестьяне ни с того ни с сего отказались участвовать в войне после разгрома флотилии противника, и тем самым проявили классовую «не» или, наоборот, сознательность, было нелепо и невероятно скучно.

Идеология быта, как он называл окраску окружающего уклада жизни, никогда не казалась ему чем-то особо важ-

ным. Она существовала сама по себе, как неизбежная декорация, внешняя, плоская плёнка, поверхностный фон, а не самоё бытие, в то время как их с Бертой, пусть и мещанский, мирок находился в других измерениях и имел высоту, глубину и ширину. Параллели этих миров никак не пересекались. Дело в том, что с самого детства Штейнгауз усвоил правила выживания в любых условиях, часто повторяемые ему отцом или бабушкой Ядвигой – если что-то или кто-то сильнее тебя заставляет тебя жить по-своему, найди в предложенных обстоятельствах то, что тебе в этом предложенном или навязанном интересно, и то, что им – этим сильным, от тебя – полезно. И занимайся своим делом на здоровье, не трать душевные силы на попытки принять или нет этот уклад или строй – бубни доклады, сдавай отчёты, посещай заседания, но при этом старайся выполнять своё дело как следует, по всем правилам, и тогда вряд ли им захочется залезть тебе в голову и проверить, о чём ты на самом деле думаешь или чем ты по-настоящему увлечён. «Жизнь всегда имеет свой сокровенный смысл, даже если нам он непонятен, Витольд», – говаривала бабушка Ядвига, утешая его после плохой оценки по специальности в педучилище или по обыкновению раскладывая за столиком пасьянс в кружевной накидке на волосах. «Kiedy doróżniesz, to zrozumiesz», – добавляла она по-польски, отхлёбывая тёмной наливки из рюмочки. Витольд не очень понимал, о чём это она, но всегда старался следовать мудрым советам бабушки.

Неудивительно, что жизнь мало кому известного Песчанска, и мирная, и подспудно бурлящая, махрово и замше-ло провинциальная, вдалеке от больших городов империи, как он мысленно продолжал называть Страну Советов, его поэтому совершенно устраивала, ибо, как правильно заметил опальный революционер Троцкий, революции вершатся в столицах, а в провинции сходить с ума, бузить, палить из пушек, в общем-то, некогда, стыдно, переполохи приходят, проходят и уходят эфемерной, бесноватой лихорадкой, а жизнь идёт своим чередом, своим скучным, но прекрасно всё сохраняющим и самосохраняющимся распорядком – забитые деревянными досками лавки открываются и снова торгуют, чистильщики обуви по-прежнему зазывают клиентов, бабки сплетничают и продают семечки и зелень с частного сектора, народ работающий сбывает свою продукцию, интеллигенция меланхолически перебивается с одного заработка на другой, а заработав, сибаритствует, начальство в портупях нервно поправляет фуражки, исправно рапортуя о фальшивых успехах, и вечно с ужасом ожидает проверок из центра. Часы тикают, вода течёт. Каждый занят тем, чем может, и жизнь соседа всегда играет гораздо более важную роль в мироустройстве среднего жителя Песчанска, чем все вместе взятые съезды партий, дворцовые перевороты где-то там, наверху, или визиты глав иностранных государств. Нет, они, конечно, тоже часть истории, но той, которая Витольду никогда не была интересна.

А вот История с большой буквы, та, другая, история-тайна, была для него не отвлечённым понятием или каким-то там пресным школьным предметом, над которым студенты, как правило, засыпают, и даже не наукой с вечными вопросами и поиском ответов, а отдельно живущим пластом событий, которые происходят не только в то время, когда они впервые на самом деле происходят, а и каждый раз, когда о них читают, думают, изучают – то есть, когда подключают свой мыслящий аппарат, который сам по себе тайна тайн, к их незримому коду. Именно поэтому история в глазах Штейнгауза, впрочем как и математика, была делом точности, а не приближённости или условности. Он был уверен, что как ни парадоксально, история жила вне быта и вне идеологий, её нельзя было писать, как кому вздумается, она или была, или нет, и он отчаянно страдал, когда видел, а вернее чувствовал, расхождения со здравым смыслом в каком-нибудь учебнике по Новейшей истории, брошенным Людвикой на кухне, в который случайно, мимоходом, заглядывал. Одно название чего стоило, неизменно возмущался Витольд. Как история может быть старой, новой, или новейшей? Это было всё равно, что давать определение времени, которое течёт не только по физическим законам, а и по другим, нам ещё неизвестным своим собственным законам, и скорее всего не течёт вовсе, а самовоспроизводится как совершенно особый вид материи – материи глубинной памяти. И память эту никогда нельзя потерять потому, что её нельзя иметь или не

иметь, ибо она творится каждый день и час, и живёт сама по себе. Люди, как думал часто Витольд, люди – это только прекрасно подобранные действующие лица, своего рода куклы, или, может быть, числа, целые и дробные, случайные или натуральные, комплексные или кардинальные, и это из них складываются узоры событий и фактов, подобно тому, как ткётся канва математических уравнений и формул, перетекающих из одной формы в другую, неизменно сохраняя значение. И, что характерно, часто, судьбу более сложных многочленов играют самые обыкновенные, простые числа. Как он сам. Или Глафира. Правда попадались и очень сложные конфигурации. Как доктор Фантомов, к примеру, или Берта. Их истинное значение было трудно вычислить с помощью простых чисел.

Более того, если число – это абстрактная сущность, используемая для описания количества, то чем оно, собственно, отличается от человека, индивидуальной сущности, используемой для составления подобной, не менее абстрактной категории: такой, как население, или то, что идеологи современности любовно именуют массы? Да, в общем-то, ничем. По сути дела, человеческое общество можно представить как некое Решето Эратосфена, через алгоритм которого можно было определить нахождение всех простых чисел до некоторого заданного целого числа n , то есть свести индивидуальности к некоей абстрактной, общей человеческой единице. Вот именно на этих, высоких сверхуровнях, когда че-

ловек нужен больше как число, участвующее в составлении или выведении математических соотношений, смещающих баланс власти в бытии государств и народов, и действуют законы той, большой истории, которой он, благодаря подарку Фантомова – крохотным оловянными солдатикам, с некоторых пор так неожиданно увлёкся.

По иронии судьбы, Витольд никогда не служил в действующей армии. В военные годы их училище перестроилось на подготовку и переподготовку комсостава артиллерийской противотанковой обороны, как и многие другие тыловые заведения подобного рода. Помимо теории ведения боя и основ связи, курсанты изучали инженерное дело, а следовательно – прикладную математику и другие точные науки. Иногда они уходили на фронт целыми выпусками, и то, что на учителей, уже готовившихся принимать новичков, не успев, как следует распрощаться с выпускниками, распространялась броня Минобороны, казалось какой-то иезуитской нелепостью. Каждый раз, провожая глазами плотно набитые грузовики с его учениками, которым он вчера ставил двойки и черкал красным карандашом в тетрадках, обводя места ошибок, Витольд чувствовал себя подлецом, предателем и трусом, и, хотя он понимал, почему ему важно находиться на своём рабочем месте, всё его существо рвалось туда – в грохочущий по булыжной мостовой, чихающий на поворотах грузовик, а он просто шёл домой пить чай из крапивы и есть свой хлебный паёк с тонким слоем прогорклого

постного масла.

И только теперь, много лет спустя, он мог хоть частично выпустить пар – почувствовать себя центурионом, стратегом и тактиком, выплеснуть накопившийся годами азарт боевого командира, которому так и не пришлось воочию увидеть свой батальон. Он даже отвлёкся от решения загадки послания Горация и только через некоторое время вдруг понял, что таким образом Фантомов, истинный доктор, принёс ему необходимое лекарство. Только было не совсем понятно, лекарство от чего – от его мнительности и страхов перед проявлениями иррационального в жизни или от чрезмерной увлечённости разгадкой этого же самого послания?

Витольд встал из-за стола, медленно прошёлся по своему кабинету, размял руки. Людвика была на работе, Глафира мыла посуду на кухне. С приездом дочери их с Глафирой отношения как-то сами собой рассеялись, развалились, принялся размышлять Витольд. И до возвращения Людвики Глафира стала чересчур подозрительной, недовольной, неприкрыто следила за ним и Пашей через щёлку в двери, когда они уединялись в его кабинете, разыгрывая очередные исторические сражения. Былая лёгкость ушла из их общения, и Глафира из внезапно преобразившийся «Пиковой дамы» превратилась в то, кем была – приходящей домработницей, ворчащей на беспорядок, звякающей кастрюлями и ключами, относящей в прачечную постельное бельё и натирающей паркетный пол в гостиной до блеска, и только ино-

гда, когда у Людвиги были долгие вечерние смены и Глафира приглашала Витольда на чай с оладьями или пирожками, после второй чашки душистого индийского чая между ними проходила тёплая волна забытой взаимной симпатии, и он ласково клал свою сухую ладонь на Глафирину птичью ручку, чопорно мешающую сахар в чашке. Она вздрагивала, поджимала губы, волновалась, клала ложку мимо блюда, пачкала скатерть, от этого расстраивалась, но тут вскоре приходила Людвика, и каждый из них прятался и снова уходил в свой мир – Глафира в безвременное пространство, затерянное между чайными сервизами и плитой, Витольд – куда-нибудь на побережье Адриатического моря, чтобы вместе с Ганнибалом как следует подготовиться к походу на Рим, или на берега реки Шельд, близ границы Фландрии, чтобы составить компанию императору Отгону IV Брауншвейгскому и возглавить антифранцузскую коалицию, а заодно помочь Иоанну Безземельному вернуть Северную Францию короне Плантагенетов. Оба немного страдали и одновременно были рады такому положению вещей, потому что Витольда теперь не терзал стыд за не по возрасту вспыхнувшие притязания к своей же домработнице, а Глафира вошла во вкус жертвы обстоятельств, в угоду добродетельности которых она могла тихо страдать и чувствовать себя то королевой Марго, жестоко брошенной герцогом Гизом, то библейской изгнанницей Агарью, о которой ей рассказывала соседка Фая Моисеевна, когда они обменивались рецептами ватрушек с творо-

гом и тёртым орехом с добавлением яичного желтка, сахара, ванили и щепотки перемолотого тмина.

Несмотря на должное почтение к многоуважаемому источнику, Штейнгауз был сегодня разочарован энциклопедией. Он не нашёл того, что искал, и после прочтения семнадцатой главы история битвы не зажила в его воображении, как то панорамное кино, о котором он не так давно слышал от коллеги по училищу, Остапа Блиненко, преподавателя строевой песни и пляски, намедни побывавшего на передвижной выставке ВДНХ в Москве. Остап, небольшой человек с маленькими потными ручками, с жидкими бесцветными волосами, зачёсанными кое-как назад и оттого часто расчёпывающимися, и тем не менее уходящими на нет в выпукло намечающиеся залысины, с вечно засаленным воротником большого, не по размеру пиджака, громко расписывал свой восторг от увиденного, брызгая слюной и размахивая руками, в сотый раз повторяя:

– Бесподобно! Это было бесподобно! Полный эффект присутствия, знаете ли, ну, полный! – он облизывал высохшие от волнения губы и продолжал: – Дело в том, что вы смотрите на происходящее снаружи, как зритель, но каждую минуту вам кажется, что вы тоже там – прямо посреди действия картины. Картины меняются прямо перед носом, скачут всадники, пыль столбом, а потом...

Он говорил что-то ещё, махал ручками и тарасил глаза, но Витольд ловил себя на мысли, что больше не слуша-

ет Остапа Блиненко, и не потому, что ему не интересно, а как раз наоборот – оттого, что было очень интересно, потому что, благодаря этому рассказу он вдруг понял, почему происходит этот чудной эффект присутствия во время их с Пашей разборок битв и сражений. Этот эффект происходил именно так – сначала ты как зритель смотришь на картину боевых действий, и в какой-то момент из плоской и однолинейной, схематично представленной и воображаемой яви, ты вдруг начинаешь видеть всё по-другому, объёмно, как будто ты уже не здесь, а – там, и ты начинаешь слышать звуки голосов солдат и ржание коней и даже ловишь куски фраз, произносимых на знакомых или незнакомых языках, а потом так же, как и они, вздрагиваешь от канонады тяжёлой артиллерии или сплёвываешь песок, застрявший между зубов после очередного пушечного взрыва. Ах, как это прекрасно!

Но сейчас, как Штейнгауз ни крутил в уме вновь выбранную баталию, и как много о ней ни читал, ничего яркого, необычного, той самой изюминки, которую по обыкновению пропускали историки и за которой он так всегда охотился, он пока увидеть не мог. Другим разочарованием было то обстоятельство, что если фигурки мушкетёров он ещё кое-как мог найти на барахолках и у редких, вымирающих любителей-коллекционеров, то уж солдатиков-пикинеров – ни у кого не водилось, а он знал, что они играли немаловажную роль в Брейтенфельдеской битве, что началась утром 17 сентября 1631 года. Заменять их мушкетёрами он не хотел, потому

что это сразу бы нарушило главное условие создания панорамного театра действий – всё повторить в точности, со всеми деталями, чтобы, так сказать, войти в ритм с глубинной памятью битвы, иначе ни о каком эффекте присутствия не могло быть и речи. А где, где их найти? Витольд ломал голову и не мог придумать, как разрешить эту ситуацию.

Вот в таком неважном расположении духа его и застал Паша. Несмотря на прохладно-приветливое к нему отношение Людвики, он продолжал приходить к ним в дом, и, если она не выходила с ним изредка погулять, он исчезал за дверью кабинета её отца, и Людвика была рада, что её прежнее к нему романтическое чувство, внезапно растворившись после её отъезда и не вернувшееся к ней в связи с приездом домой, похоже, никак не угрожало их давнишней дружбе.

Сердце Людвики было всё ещё ранено безответной любовью к Глебу Березину, и то она была уверена, что не такой уж безответной, но обстоятельства сложились так, что по самой банальной из всех на свете причин влюблённый мужчина не мог ответить взаимностью предмету своего внимания. Глеб не мог и не хотел переступить не им придуманную, но чтимую границу дозволенного именно из-за неё. Он был женат.

А ведь Лера, со свойственной ей житейской проницательностью, сразу поставила правильный диагноз безвыходного положения Людвикиной неразделённой любви.

– Когда налицо такая картина, Людвиг, – говорила тогда Лера, причёсывая малюсенькой щёткой брови, – значит,

он либо не хочет, либо не может. И раз первое отпадает, тогда – второе.

Увидев застывшее выражение Людвигино лица, тут же успокаивала незадачливую подругу:

– Не бойсь, вот поступим в академию, там за тобой будут ходить дюжины таких Глебов, и в очках и без, со счёта собьёшься, только вот поступить! – бодро заканчивала она свой прогноз, выщипнув, наконец, особо упрямую волосинку из идеально приглаженной в сотый раз соболиной брови.

Но Людвиге не нужны были толпы поклонников. Ей вообще никто был не нужен, только Глеб, и как назло он-то и был ей недоступен. Она долго не спала после того, как Геля за санобработкой перевязочного материала простодушно сообщила Людвиге об ужасном факте, так, между делом, что Глеб не так давно – года два назад – женился на своей пациентке, когда буквально вытащил её с того света, и та в благодарность решила посвятить ему остаток подаренной им жизни, а он, уставший от неустроенного быта, одиночества и бездомности, хоть и не сразу, но всё-таки переехал в её хоромы на проспекте Стачек, с башенкой на пятом этаже.

Лера сопоставила факты и подтвердила, что да, на четвёртом этаже её подъезда, кроме старухи Рычковой с бульдогом и Савиковых, живёт ещё странная пара: врач-очкарик, так себе мужчина, вечно спешит, по сторонам никогда не смотрит, и продавщица из галантереи напротив, с высокой причёской из блондинистой косы, закрученной кольцом.

– Всё на лаке, – перешла на свою главную тему Лера, – этак каждый дурак может. Ты вот попробуй без лака такую башню на голове удержать, – уточнила она и тоскливо посмотрела на свою, не очень удачно сделанную модную укладку для волос средней длины, до плеча, с двумя пышными завитыми локонами, закрывающими полщеки, как у Лолиты Торрес, только у Лолиты это выглядело очень красиво, а у Леры – как у взлохмаченного, чем-то напуганного спаниеля.

– Раньше она жила с дочкой, а тот тип к ней не так давно переехал, – вернулась к теме Лера. – Дочку, похоже, отправили к бабушке. Или учиться куда поехала.

«Учиться поехала... Точно, как я, – подумала Людвика удручённо. – То есть я ему как та дочка приёмная по возрасту гожусь? Ужас какой...»

Промучившись ещё пару недель, не в силах больше видеть Глеба ни на работе, ни в тяжких, тягучих снах, Людвика решила уволиться со скорой помощью и вместо того, чтобы пойти сдать последний экзамен по физике, купила билет домой. Прощай, академия! Отчего-то всё на свете ей надоело и даже поступать расхотелось. Не нужна она тут никому. И Глебу в том числе. Людвика вспомнила Глафирино патриотическое бормотание: «Где родился, там и содился». А может, она и права, и папу я давно не видела, как он там? Она собрала чемодан, села в поезд и часа два безучастно смотрела на мелькающие телеграфные столбы в окне своей боковушки, до одури, до тошноты, пока те не превратились в густых

сумерках в бешено скачущие вокруг вагона чёрные зигзаги с убегающими огнями на верхушках.

...Паша осторожно постучал в кабинет Штейнгауза и, не расслышав ответа, приоткрыл дверь. Витольд стоял у большого стеллажа с книгами, и в раздумье разглядывал длинный футляр с тяжёлым металлическим замком. «Никак один из своих револьверов рассматривает, – подумал Паша, – и чем-то озабочен».

Паша постоял так с полминуты и потом деликатно кашлянул. Штейнгауз обернулся и сунул футляр в нишу стеллажа, там, где громоздились и другие подобные футляры и коробки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.